



УРАЛЬСКИЙ  
СЛЕДОПЫТ

**3**  
1969





ЛИТЕРАТУРНО -  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЖУРНАЛ СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР  
СВЕРДЛОВСКОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ И  
СВЕРДЛОВСКОГО  
ОБКОМА ВЛКСМ

ГОД ИЗДАНИЯ  
ДВЕНАДЦАТЫЙ

3

1969

ГЕРОИКА ● КРАЕВЕДЕНИЕ ● ПРИКЛЮЧЕНИЯ ● ФАНТАСТИКА

У Р А Л Ь С К И Й  
**СЛЕДОПЫТ**

# ПОПЕРЕК БРОНИ

Рассказ

**М**атушкин спал с солдатами в кладбищенской часовне. Проснулся сразу, лишь только Баклушев — наводчик первого огневого расчета — коснулся его плеча.

— Ва-а-алят! — взволнованно сообщил тот.

Еще во власти сна, Матушкин, однако, понял: будет дело. Кажется, уже и началось.

Вскочил, почувствовал: не хватает чего-то. Ни тулупчика на нем, ни шапки-ушанки... Когда успел сбросить с себя? Должно, в полусне.

Душно, не продохнуть в небольшой часовне. Посередине — перевозная печь: железная бочка из-под соляра, труба — через дверь. С вечера, перемерзнув за день, солдаты раскалили печь добела.

— Давно... ревут-то? — как можно спокойней спросил взводный.

— О се... За лесополосой. Зараз прибеги,— с готовностью ответил Баклушев.

— Свет! — приказал лейтенант.

**2** Наводчик в потемках нащупал клемму, накиннул на нее проводок. Крохотная лам-

почка автомобильной переноски осветила часовню, солдат, спавших вповалку на полу на соломе, приглушила отблески огня в печи.

Первым делом Матушкин взглянул на часы. Не было и пяти. Неосознанная сонна, но сдавившая было тревога несколько отлегла: давно фашистские танки не отваживались ходить в бой по ночам. До рассвета же еще далеко.

Подхватив с соломы тулупчик, ушанку, одеваясь на ходу, Матушкин шагнул к двери.

— Свет,— шепнул он.— Поспят пусть еще.

Сорвав с клеммы проводок, уже в потемках, Баклушев зашпел за взводным.

На улице валил снег.

«Красиво! — отметил про себя взводный.— И следы занесет, хорошо!» Захватил горстью снег, протер глаза. Пригладил усы. Немытое лицо сразу посвежело.

— Кто идет?! — окликнул возле пушки Прорешный. Признав своих, заряжающий второго огневого расчета доложил: — Гудят, товарищ лейтенант.

— Во-о-он ат! — подтвердил Баклушев.

С той стороны, из ночи доносился глухой непрерывный гул.

— Километров шесть, семь... Не больше, — как будто и не вслушиваясь, так, проходя, определил Матушкин. Помолчал еще минуту. И снова сообщил: — Подходят... С марша... Накапливаются, поди.

Лесничий, охотник-промысловик, он прежде на слух определял и не такое: белочка цокнула где, шелохнулась ли мышь...

Различал в тайге каждый звук. А теперь вот по рокоту дизелей пытается разгадать замысел врага.

Вчера, форсировав реку, два истребительных полка резерва главного командования зарылись на окраине мадьярского городка. Задачей их было удержать мост, не пустить немецкие танки в направлении Будапешта. Два взвода — первую батарею капитана Лебеда — выдвинули вперед. В чистом поле только и видать: бугорок у хуторка — здесь укрылись пушки младшего лейтенанта Зарькова, да кладбище, где упрятался вчера взвод Матушкина.

Это был сплошной, как на заказ, массив уже готовых противотанковых надолб. Гранитные и мраморные надгробия, с бюстами, крестами, эпитафиями. Тут и там, как амбразуры дотов, мрачно темнели лазы в склепы. У могил, вдоль аллеек, позимнему голый кустарник, сухая стена испанского дрока, потемневшие стебли цветов. Только туйки стояли кое-где в вечном своем наряде, утонув в сугробах почти до вершин.

Матушкин верил, что все будет так, как и рассчитал. Дойдя до кладбища, немецкие танки, конечно, повернут. Обязательно повернут. Этих каменных надолб — памятников, крестов, могильных плит — никакой ползучей твари не одолеть. «Все равно, куда повернут, — думал Матушкин. — Налево, вдоль дороги, или направо, к высоте. Смотровые щели танков будут тогда глядеть в сторону, не на нас».

Матушкин знал, не раз проверил на собственном и чужом опыте: заройся только поглубже в землю, приноровись к местности, замаскируйся так, чтобы враг, даже вглядываясь, не рассмотрел тебя, тогда и почувствуешь себя уверенней и будешь бить наверняка. «Ведь что губит нас — истребителей? — в какой уже раз спрашивал он себя. — Кому не ясно, что орудийная башня танка — это тебе не пушка на огневой! И спрятана-то за бро-

ней, и вертится быстрее. Одно у нас преимущество: хреново им все-таки видно из танка».

Сузив во тьме цепкие беспокойные глаза, еще и еще раз оценивал Матушкин расставленные здесь взводом «кулемы, капканы, силки...»

— Капитану доложили? — спросил он.

— Никак нет! — ответил Прорешный.

Командир первой истребительной батареи капитан Лебедь, флегматичный на вид, малоподвижный, был как всегда со взводом управления. В прошлом учитель, сугубо гражданский человек, комбат не страдал излишним начальственным рвением, почти по-цивильному был ровен со всеми. Если оказывался неправ, тут же и признавался. И даже нередко похвалялся за дельный совет: «Выручил, милоч... Вот выручил!» Но уж где надо, требовал.

На звонок взводного Лебедь ответил сразу. Тоже, значит, не спал.

— Слышу, Матушкин, слышу... Сколько, думаешь, их?

— Вам сверху видней, — намекнул лейтенант на положение Лебеда и на его верхний, в хуторском флигельке, этаж.

— Не видней... Ох, не видней! И разведка о цифрах молчит, — пожаловался капитан и добавил с плохо скрытой тревогой: — А «тигры» вот, докладывают, есть. Не двинули бы сейчас.

— «Тигры»?... Нет, не пойдут они до света, — помолчал, ответил лейтенант.

— А ты будь готов, — потребовал Лебедь, — не утешай.

— Ну...

— Да не ну!..

— Да не пойдут!.. Кишка тонка.

Опыт показывал: и без того полуслепые танки во тьме проигрывают вдвойне. Фрицы давно уже отказались от ночных танковых атак.

«А жаль», — тут же подумал Матушкин. Нургалиев и Барабанов, наводчики, отлично научились бить по «зверью» и впотьмах: по звуку, по вспышкам из выхлопных труб. Матушкин и сам не раз становился ночью у окуляра, именно в слепой стрельбе видя высший класс. Отдаленно чем-то напоминала она ему охоту на поздней вечерней тяге, когда темно уже, зорька сошла на нет. Вскинув ружье, бьешь скорее по свисту секущего воздух чирка...

А «тигры»... Что ж, насторожился, конечно, Матушкин. 3

Но и сам «тигр» — тоже еще не все. Матушкин знал: там — по ту сторону фронта, за лесополосой, — кто-то мудрил и сейчас еще мудрит, чтобы схватить за горло его. Два охотника встретятся нынче в бою. И победит тот, кто окажется не только сильней, смелей, но и хитрей.

Потому-то и колдовали они вчера весь день, маскируя пушки, до полуночи сидели над картой — он, Лебедь и Зарьков, — под храп солдат чертили с командирами отделений схемы огня. И засыпая, вконец измученный уже, Матушкин все продолжал обдумывать предстоящий бой. Потому, возможно, и приснился байкальцу странный, тревожный сон. Стоит сынишка его — восьмиклассник Колька — один на голой Совиной скале. Внизу Байкал. И вдруг как закричит Колька: «Слева, батя, гляди, слева!» Повернулся, а там медведь. И почему-то ползет. Огромный, серый. Глаза челевьи, покорно так глядят... А в лапе — нож. Его, матушковский охотничий нож. Как он к нему попал?..

Вспомнив сон, Матушкин снова — с тревогой, сосредоточенно — оглядел в потемках, оценил взводный огневой рубеж.

Вторая пушка, сержанта Нургалиева, шагах в двухстах от него. Позиция хоть куда. С Нургалиевым — проводная связь. А расчет Барабанова рядом. Управляй, приказывай... не нужен и телефон. Закопались лучше кротов. Заново подбелили у пушек стволы, щиты. Проверял — и в ста шагах ничего не видно. Только торчат из соседних склепов ложные оружейные стволы... И снарядов полный набор. И задача поставлена. И дух у всех... только в бой!

«Ваньке надо позвонить... Тут точно надо все», — решил Матушкин.

— Сосед? Слушай, — подняв трубку, закричал он в микрофон. — Вправо если пойдут, от дороги... первым не бей! Подпускай на меня. Понял? Первым я бью. А ты — потом... Тебе в бок главное! Понял?

— Есть! — весело подтвердил совсем юный еще командир второго взвода младший лейтенант Зарьков.

— Смотри, сосед...

— Смотрю!

— Ну, давай... Успеха тебе! — Как-то особенно — отечески, тепло — пожелал младшему напарнику уже седеющий лейтенант.

4 Снег сыпал густо. Даже в темноте было видно, как прямо на глазах, словно

мыльная пена, нарастала пушистая пелена. Тонули в снегу все эти плиты, памятники, кресты. «Вот уж доподлинно чудо, дар зимы! — опять восхитился Матушкин. — По лесу б сейчас пройтись, на камусных ползунах... На белочку, соболька... Самый раз!» И так все это ярко представилось лейтенанту, так засосало по дому, что дикой показалось вдруг Матушкину мысль: вот и нынче кому-то помирать...

Надо, правда, отдать ему должное, — за все три года войны им ни разу ни завладело самое легкое в бою чувство: а, помирать, так помирать! «Кто смерти не боится — невелика птица», — понравилось ему, как припечатал однажды в споре Лосев, направляющий. Матушкин и сам всегда делал все, чтобы вывести живыми из боя своих ребят. Чего только ни придумывал, взять бы только над фрицем верх.

«Один узбек чего стоит!» — с гордой радостью подумал лейтенант. Командир первого расчета сержант Нургалиев — ловкий, упругий, литой. Яростный, злой. Черные раскосые глаза на плоском лице не смотрят — горят. И такая в них — нургалиевских глазах — всегда готовность, столько в них затаенной силы, столько расчетливой уверенности в себе! Кажется, он только и ждет, чтобы вот сейчас снова послали его в бой... Все три ордена Славы, два «Отечественной войны», «Красная звезда», веер медалей уютно, привычно лежат под шинелью на его груди.

Вдруг Матушкин уловил, что там, за линией фронта, рев машин стал иным.

«Ага, закончили маршировать... В боевой становятся уже...» — догадался он.

Занервничала пехота на нашей передовой, небо там озарилось всполохами ракет.

— Прорешный! Бегом! В ружье!

Солдаты выбегали из часовни. На ходу одевались, вставляли в автоматы диски. Ежились на ветру.

Неожиданно, как заслонку кто закрыл на небе, перестал валить снег. И сразу — будто в нем, в снеге, и была вся помеха — началось! Заскрипел «ванюша» на той стороне. Польшнуло мрачное еще на западе небо. Скрип ракет перешел в вой. Дружно заговорили орудия. Минут двадцать после этого громыхала еще и вспыхивала передовая. На большее фрица не хватало.

И, начав с востока, зарумянилось уже, засветлело все небо, когда двинулись, наконец, танки.

Зазвонил телефон. Лебедь сообщил: три десятка «тигров» и «пантер», шесть «фердинандов» след в след — бояться мин — идут левее высоты. Левее даже второго взвода.

— Э-эх! — в сердцах вырвалось у Матушкина. — Как... как пошли? Правее бы чуть! — И с болью не сказал, а подумал: «Ну, держись теперь, Зарьков!»

И точно: через минуту взвод молодого еще, неопытного офицера открыл огонь.

А дальше вышло так. Танки, которым удалось прорваться, устремились к мосту. Бойцам, окопавшимся на кладбище, их не было видно, и о том, что происходит там, у реки, можно было судить только на слух. В тылу взвода стоял сплошной оружейный рев. Но и в нем отчетливо различалось, как тяжкие грозвые раскаты «тигров» не поспевали за дружной пальбой наших батарей. За неубраным кукурузным полем, где-то возле реки, взмыли ввысь первые мазутные дымы. Сердце разрывалось, невозможно было видеть, слышать это, внимая всему со стороны.

Вот тут-то и раздался по телефону сигнал:

— Одиннадцатый... одиннадцатый!.. Я третий. Будьте готовы!..

Оказывается, танки не выдержали, повернули... Несколько из них ложиной уходили в сторону кладбища, на матушковский взвод.

— Не пускайте к Зарькову... к Зарькову! — услышал сибиряк.

— Что с ним?.. Алло, алло!.. — Но голос в трубке пропал. — Вот черт!

Бешено закрутил у аппарата рукоять.

— Приказ слышал?! Выполняй! — отрезал, не став и слушать, комбат.

— Я спрашиваю! — вдруг взорвался взводный. — Что с Зарьковым?! С Ваней что?!

— Чего орешь? — возмутился и капитан. — Молчат... Иду к ним сам...

Матушкин знал: развернуть орудия — минутное дело.

И если б не тревога за Зарькова, и горничиться б не стал. Но с новой этой заботой на сердце стало тяжко. Однако взял себя в руки, поднял бинокль. Чуть задрал выползшее из-под шапки лиловое уже от мороза ухо, стал ловить нужный ему звук.

Он явственно различал нараставший рокот машин. «Идут!» Нечто похожее на тоску, дремучую, глухую, осторожно

кольнуло его. Но над естественным этим чувством тотчас взяла верх трезвая деловая мысль. Подчиняясь ей, Матушкин немного помедлил — может, преждевременно, может, повернут еще, — послушал, подумал... И еще до того, как танки вылезли из ложины — не дай бог, заметят маневр! — скоординировал:

— Танки с тыла!

Приказ он крикнул в телефонную трубку Нургалиеву. Да так, чтоб слышал и второй расчет.

... — С тыла! — повторил ефрейтор Барабанов.

По юному исхудалому лицу Барабанова и особенно по голосу было заметно, что взволнован, нервничает вновь испеченный командир. Еще бы, нынче предстоял бывшему наводчику Ромке Барабанову его первый командирский бой.

Пришел Ромка Барабанов в полк, считай, пацаном. Прямо из школы. Детдомовец. От силы семнадцать было. А по бумажке уже солдат, успел где-то наврать.



Одели клопа в мундир. Присяга, карабин. И... в расчет. Буссоль, панораму, пушку, все секреты стрельбы хватал на лету. От прицела не оторвать. Как-то заяц чесал по полигону, так он и его — раз, и в перекрест. Наводка была — класс! А теперь вот командир...

Пушки точно, как и ожидал взводный, развернулись вмиг.

Странное чувство испытал вдруг каждый солдат. Даже взводный, не раз бывавший и в худших передрягах, с тревогой оглянулся назад. Фронт — непривычно, неуютно — был за спиной.

К этому странному чувству в сердце Ромки Барабанова подмешивалось что-то еще. Прежде, наводчиком, только гаркнет бывало командир: к бою! — а уж Ромка впился глазом в прицел, пальцы сами вертят штурвалы. И весь мир тогда умещался для него в перекрестии панорамы. А сейчас куда себя девать?.. Слева, справа от щита?... Или за ним?.. Может, прыгнуть в окоп?.. А, может, самому сесть за прицел?

Но Чеверда, новый, сменивший его наводчик, сидит прочно за щитом. И еще непривычнее почувствовал себя Ромка. Гулко, часто бьется сердце. Оглянулся чуть растерянно. Притихли солдаты. Прорешный, как младенца, прижал уже к груди снаряд. Вот-вот, кажется, баю-баюшки запоет. Направляющие Середа и Лосев, как всегда, на станинах сидят. О чем они думают? О колхозных своих делах, об уже близком весеннем севе? Не очень сноровисты, всегда удивительно невозмутимы оба. Но на фронте спокойный мужик — клад... На коленях остальные, головы в плечи, к груди: не увидел бы враг. Шапка взводного с веточкой дрока торчит из окопа шагах в десяти. Пригляделся Ромка — лицо взводного грозно. Сдвинутые к переносью черные кустистые брови тяжелы; на желтоватых белямах цепкие зрачки; ноздри вскрылены — дышат; подмерзли, встопорщились усы.

«С Зарьковым... что с Зарьковым?!» — думал в эту минуту лейтенант. И вдруг невольно охватил взглядом будто сейчас только возникшую перед ним красоту. Там, где край кукурузного поля у лощины, как бы ломаясь, отделял небо от земли, лежала узкая желто-лимонная полоса. Чуть выше она розовела. А уж дальше и вовсе была до слез, до боли, до радости несказанная красота. В зимнем матовом небе стояли облака. Почти незаметные...

Только на миг отвлекся Матушкин и вдруг увидел снежный вихрь, плеснувший на яркую полосу, за частоколом кукурузных стеблей расплылось грязное неясное пятно, саданул по ушам гром дизелей. И хоть ждал сибиряк этого, и Барабанов ждал, и ждал весь взвод, — вырос у излома лощины первый танк неожиданно. Как черт из-под земли.

Барабанов, еще минуту назад не знавший, куда себя деть, мигом скатился в окоп.

Танк, выползший из оврага, застыл. Снежный смерч вокруг него сразу опал. В бинокль увиделись белые пятна на рыжем боку, мощные броневые плиты, башня, развернутая назад, чудовищно длинный ствол.

— «Тигр»! — почтительно выдохнул Ромка.

Лосев вполголоса зашептал:

— «Тигр», братцы... Держись!

Грозный хобот танка задрался. Грохнул выстрел. Методично, с равными промежутками «тигр» палил в сторону реки. Что он там крушил, с огневой не видно было.

— По нашим, гад, бьет! — заерзал у прицела Чеверда. — Долбанем, товарищ лейтенант?

— Я те долбану... Ждать! Далеко еще!

— Товарищ лейтенант... Смотрите!

Однако Матушкин видел уже и сам: из лощины выползли еще два. Тот, что стрелял, тотчас рванул вперед. И все трое гуськом пошли на взвод.

Сердце взводного бешено колотилось. Сколько выдержал уже таких атак... Но привыкнуть к этому нельзя.

Между тем танки стали забирать левей. То ли немцы знали о кладбище и хотели его обойти, то ли решили взобраться на высоту — осмотреться. Шли ко взводу теперь под углом, подставив под пушки бока.

Впившись в тройку биноклем, Матушкин заклинал: «Так, так идите, голубчики. Так!»

— Бронейбойный! Первое орудие — по среднему!..

«Нам», — подумал Барабанов и повторил приказ.

— Второе... — это Матушкин кричал уже в телефон. — Второе — по замыкающему!

«Можно и подождать, — волнуясь, весь напрягшись, и все-таки расчетливо рассудил Ромка. — В слепую почти идут... Снег



подняли вон как...» Услышал, как цокнул, закрываясь, орудейный замок. Сухо звякнул на морозе металл.

Танки шли неторопливо, остерегаясь. Пушки — в разные стороны, только у головного вперед.

«Пора...» — забеспокоился Ромка. Но лейтенант тянул. Ромке казалось, что танки рядом уже, еще минута — и будет поздно. Оглянулся. Взводный как раз, прижав трубку к уху, взмахнул рукой:

— Ого-о-онь!

Тут же и Ромка рывкнул: «Огоны!» — и тоже невольно, яростно взмахнул рукой.

Первые секунды после залпа часто ни о чем еще не говорят. Но этот, тщательно подготовленный, почти в упор, не мог быть пустым. Задний танк... А бил по нему сам Нургалиев, решительно отстранив наводчика. Задний танк осел сразу. Тут же охнул взрыв. Скособочилась башня. Повалил из утробы белый дым. Броневой, видать, угодил прямо в боезапас. А там и черный дым повалил. В таких случаях солжар схватывается сразу. Из щелей вырвалось пламя.

Многие ли видели, как горит «тигр»?! С треском отскакивает от брони огнеупорная шпаклевка; стонет обшивка, лопааясь по швам; гудит вокруг, словно лес-сухостой горит.

Средний танк, по которому бил Чеверда, тоже задымил. Но не сразу. После залпа он круто развернулся, фыркнул как бы с досады, чихнул и, юля, заспешил обратно в овраг. Тут-то и выпустил бурый пушистый хвост.

Тем временем орудия снова были заряжены, залп был готов.

— По головному!.. — начал Матушкин.

Но только сейчас, видать, в головном танке разобрались. То прямо шел, даже пушкой не шевельнул, а тут как крутанет... Лобовой броней на взвод, и... вперед. Ища цель, пополз длинный ствол с огромным дульным тормозом.

— Ого-о-онь! — закричал Ромка.

Выстрелил «тигру» в лоб и узбек.

Танк с ревом врезался в первый могильный крест, с ходу выгреб, раскрошил с десятков памятников, плит. Вздрыбился, сев брюхом на одну из них. Развернулся. Задрал кверху зад. Попробовал сняться... Гусеница бегала на весу, яростно скрежеща.

Ромка, Нургалиев уже заводили стволы ему под хвост.

— Стой! Не стрелять!

Наметанным глазом Матушкин уже успел определить: в мертвой зоне теперь взвод, пушкой «тигру» их теперь не достать.

— Живьем надо взять!.. Не высовываться! — распорядился он. — С прицела не спускать!

«Тигр» тщетно пытался сняться с плиты. Устав, затих на миг.

Забрав побольше воздуха, трубкой сложив у рта ладони, Матушкин закричал:

— Гебен гефанг!

Немецкий он не изучал. Но самое главное из чужого языка, то, что требовалось русскому солдату, знал.

— Ком хир!..

Злобно ударил в ответ пулемет.

Нургалиев предложил закинуть гранату в люк. И танк будет цел, и фрицам капут.

— Секир башка!... — кричал он в телефон.

— «Языка» надо взять, — объяснил лейтенант.

«Тигр» снова заревел. Видно, сил новых набрался, или фрицы придумали что... Качнулся, сдвинулся, стал валиться назад. Шевельнулся ствол.

— Ого-о-онь! — не своим голосом закричал лейтенант.

Залп угодил в заднюю плиту, разворотил топливный бак. Горящий солжар, заливая снег, сжирал его прямо на глазах. Пожухлая прошлогодняя трава, полегший сухой дрок вспыхнули костром. Вскоре занялся и сам танк. А там ахнул в утробе первый взрыв. И пошло трещать.

Стоя в окопах, за щитами, солдаты молча смотрели, как в люки, в проломы брони выбрасывало жженные патроны, обломки приборов, клочья тряпья.

— Так и не вышли, — мрачно пожалел Матушкин.

Кисло-сладкий запах, забывая солжарезиновую гарь, ударил в нос. Замутило солдат.

— Бешбармак, — сверкнул глазами подошедший узбек.

Баклушев сплюнул: — Тьфу!

...Матушкин звонил и никак не мог связаться с Лебедем, с Зарьковым. Предчувствие беды все больше охватывало его. И вокруг тревожно... На переднем крае стояла странная, напряженная тишина.

На всякий случай одно орудие, Нургалиева, вернули в исходное положение — к фронту.

Беспокойно, подозрительно огляды-

ваясь из окопчика, Матушкин снова — как и утром, перед боем, — увидел над собой по-зимнему матовый, почти серый простор. Так же стояли стылые облака за рекой, такая же тишина. Лишь на юге, где было сейчас невысокое февральское солнце, чуть проглядывало светлое пятно. Но не было уже ни желто-лимонной полоски, ни заревой алости, ни свежей ясности утра. Повсюду стояли черные столбы. Три из них поставили они... Ветерок сносил их. Растекаясь, дымы вытягивались над рекой в грязную полосу.

С запада снова донесся знакомый гул. Взвод замер. Но тут из-за речки выметнулись звенья «илов» и ревом своим покрыли все.

— Никак фриц снова что-то затевает... И пожрать не даст, — недовольно заметил Прорешный, завязывая вещмешок.

— Лихо не лежит тихо...

Лосев было сунулся в карман за куревом, но тоже не успел. Взводный приказал и вторую пушку развернуть.

Надеясь, что, может, до дела еще не дойдет, Матушкин, однако, оценил: отсюда, с фронта, так и не тронутая с утра, маскировка совсем цела. Если с тыла показала себя, то уж здесь — и вовсе должна быть хороша. К тому же, во всю ширь кладбища перед взводом — скрытый под снегом мемориал, щетинка кустов и мечта каждого артиллериста — несколько ложных огневых.

Тем временем «илы», должно быть, накрыли цель. Застонала за передним

краем земля. Да и небу тоже досталось — все в зенитных кудрявых облачках.

Однако штурмовики, похоже, сделали не все. Отбомбив, отстрелявшись, ушли. А гул все нарастал. Вот уже и передний край заговорил... Треск пэтээров, разрывы гранат, сильный автоматный и пулеметный огонь.

Пехоту все же отсекали... Танки немцев перевалили линию окопов одни.

Спереди шли средние — для разведки, для маневра. За ними тяжелые. Последними, специально приотстав — давить огнем обнаруженные цели, — ползли самоходки.

Вся эта лавина, вздыбив метель, отстреливаясь, ревя, катилась кратчайшей дорогой на мост. Часть — прямо на взвод, другие — обходя кладбище.

Вот теперь, как ждали еще с утра, артиллеристы и встали на их пути.

— Поперек, значит, брони! — лихо, отчаянно сдвинул на затылок шапку Лосев. — Ну, робя, дюжай!..

— Бить только наверняка... В корпус, под башню! — перекрикивая гул, скомандовал взводный. — Прямо в боезаряд... Без команды не стрелять!

Все-таки немцы, видно, не знали о кладбище. А может, просто обманул все присыпавший за ночь снег... Три дозорных средних танка, в разных концах, с ходу врезались в первые ряды могил.

— Не стреля-я-ять!.. — процедил в трубку лейтенант. А беспоконому Ромке молча показал кулак.



Ближний дозорник выбрался из могил сразу и, стреляя куда попало, покатил опять. А два, словно мухи в паутине, крепко завязли меж гранитных плит.

С искаженным лицом, все так же показывая кулак, Матушкин сдерживал солдат.

Подкатывал следующий ряд. Семь, восемь грозных тяжелых машин... Но, похоже, по радию успели их предупредить. Да и сами, должно, смекнули уже... Вполне могли подумать, что впереди минные поля. Тем более, что кроме завязших дозорников стояли впереди, дымя, еще три: подбитые взводом с утра.

— Первое — по левому! Второе...

Матушкин ждал, когда ближайшие «тигры», развернувшись, подставят бока.

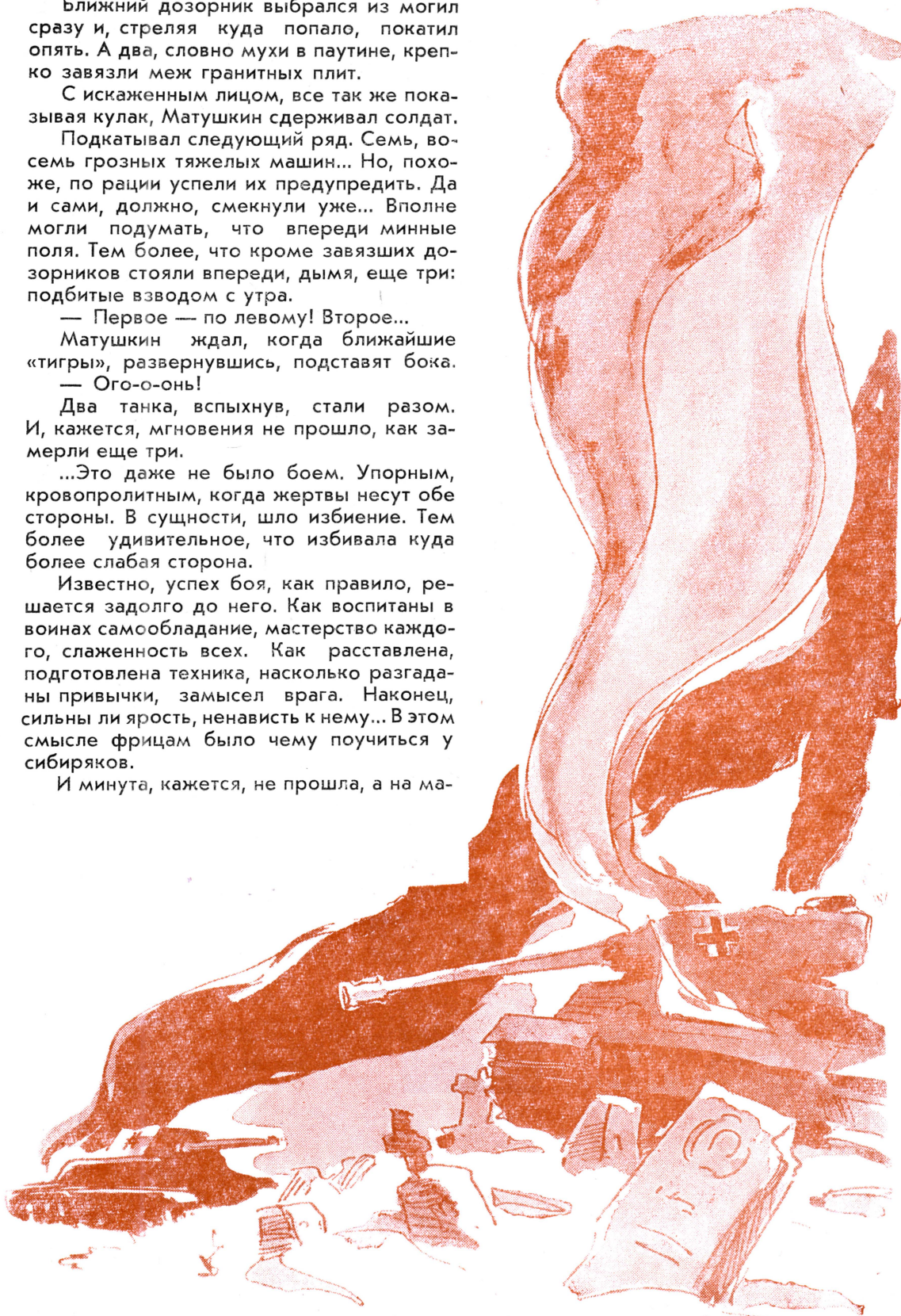
— Ого-о-онь!

Два танка, вспыхнув, стали разом. И, кажется, мгновения не прошло, как замерли еще три.

...Это даже не было боем. Упорным, кровопролитным, когда жертвы несут обе стороны. В сущности, шло избиение. Тем более удивительное, что избивала куда более слабая сторона.

Известно, успех боя, как правило, решается задолго до него. Как воспитаны в воинах самообладание, мастерство каждого, слаженность всех. Как расставлена, подготовлена техника, насколько разгаданы привычки, замысел врага. Наконец, сильны ли ярость, ненависть к нему... В этом смысле фрицам было чему поучиться у сибиряков.

И минута, кажется, не прошла, а на ма-



леньком пятачке, в пламени и дыму, ухая или жутко молча, замерли навсегда семь машин.

Первым ответил «фердинанд». Стапятимиллиметровой фугаской крайний склеп с фальшпушкой так и разнесло. Взвыли осколки, тучей взметнулся снег. Еще раз. Еще...

С ходу рявкнул и «тигр». Второй...

Еще две ложных огневых — трофейную гаубичку, под ствол подделанное бревно, мрамор, гранит — подняло с земли. Рухнул фасад часовни.

И в это время Матушкину показалось, будто со стороны хутора грянул залп.

Матушкин не мог оторваться от ползших на него машин. Он даже на миг не мог повернуть оглушенной, гудевшей, мокрой от пота головы. Но всем существом своим почувствовал, что это — Зарьков. Чувствовал, но не знал, не верил еще...

Однако совсем не осталось сомнений, когда оттуда — из-за высоты — новый залп хлестнул, что называется, немцам под самое ребро.

— Ванька!.. Бей!.. Жив, жив Зарьков! — вырвалось у сибиряка.

— Второй бьет... Робя!.. Ура-а-а! — подхватил Лосев.

Ухнули уже первые пушки и у моста.

В этом общем хоре сразу стало веселей.

Ромка ошалел. И нелепые грудастые самоходки, и головастые «тигры» показались ему вдруг совсем не страшны. И, не чуя риска, губя, быть может, дело, солдат, самого себя, он готов был, кажется, закричать уже: «Огонь!..»

В какой-то момент и Матушкин тоже чуть не потерял головы.

Последние, шедшие танки шарили стволами, были настороже. Отстреляв с места, тронул, повернул в сторону бугра и «фердинанд».

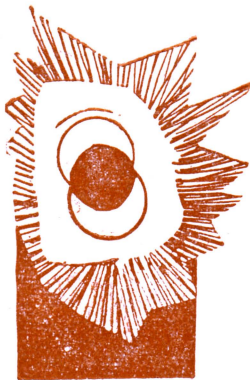
— Жда-а-ать! — сдержал себя, почти зловеще зашептал в трубку сибиряк. — Ждать!

Бугор грохнул, брызнул огнем опять. Вот и «тигры» повернули туда.

Выслеживать, таиться, терпеливо — порысьи — выжидать Матушкин учился годами. Поборов охватившее на миг опьянение, он еще лучше теперь знал: хватит у них выдержки, выцелят точно наводчики, выберет он нужный момент... И решится все! Кому — решится — остаться здесь. Навсегда!

Ему, Зарькову, батарею... Нельзя. Шагать им еще и шагать!

До Берлина!



## Николай МЕРЕЖНИКОВ



се, как в сказке, старинной и доброй,  
Камень... озеро... синяя грусть...  
Серый волк — пересчитывай ребра...  
И тропинка...

И все это — Русь.

Сказка, складная быль-небылица.  
Как озерная прибрежь, ясна.  
Но лишь стоит мне в ней появиться,  
Как тускнеет и гаснет она.  
Я какой-то, видать, не из тех,  
Тех, чье имя Илья да Добрыня.  
Вижу — снег и толкую, что снег.  
Вижу — синий, толкую, что синий.  
Угловат, суховат и суров,  
Не хватает какой-то искринки,  
Чтобы верить в волшебных волков  
И в волшебные верить тропинки.  
Научи, как мне быть. Научи,  
Как мне в мире твоём пригодиться!..  
А под камнем бормочут ключи,  
И вода там живая родится.



а сеновале начат день,  
А там, внизу, еще не начат.  
Еще траве проснуться лень.  
Она себя от солнца прячет.  
Но проступают все ясней  
Через промоины тумана  
Копна осоки  
И за ней  
Плетень, сарайчик из самана...  
Они друг друга узнают:  
Камыш... окно... в окне герани...  
И нет им радостней минут,  
Чем это время узнаванья.  
И в росяной ознобный час  
Лишь голосов не достает им,  
Чтоб окликать друг друга:

— Вот я! —

Как это принято у нас,



етят по небу облака,  
Роняя тоненькие перья.  
Всегда на свете есть река —  
Река, которой можно верить.  
Она течет, чиста, ясна,  
Любой песчинкой малой зряча.  
И не пытается она  
Не быть — а слыть,  
не быть — а значить.  
Кувшинки к ней бегут гурьбой.  
И синим светит, как из щелки...  
С ней просто быть самим собой,  
Таким, какой ты есть, — и только!  
И знать, что жизнь не коротка  
И что начать еще не поздно...  
И так сидеть над ней, пока  
Со дна ее не встанут звезды...



то там,  
По большим городам,  
Ночь оркестром рассечена,  
Ночь салютом расцвечена.  
А здесь —  
радость тиха,  
Как над речкой ольха.  
Ты несешь свою радость сторонкой:  
У соседки твоей —  
похоронка,  
У соседки твоей — дети сироты,  
Их отцу за Донцом яма вырыта.  
Но победа — победа и есть!  
И соседка сама к вам  
несет эту весть.  
— Твой вернется!..  
А я — погорелец.  
Хоть у вашего счастья  
погреюсь.



# ЧЕЛОВЕК ИДЕТ

## ЗА ПЕСНЕЙ

**П**о бескрайней оренбургской степи весной девятнадцатого года шли на врага чапаевские полки. Шли с песней. Голосистые тенора выводили запев:

Над Уралом, над рекою  
Сила грозная летит, все летит...

И вот уже песню подхватили сотни голов, и она безудержно рвется в лазоревое вешнее небо.

Гей, Чапаев! Гей, Чапаев!  
Тучей грозною гремит, все гремит...

Пели самозабвенно, с подъемом, вкладывая в песню душу. И хоть слова ее были немудрящими и мелодия простая, полюбилась она чапаевцам. В ту пору еще почти не было хороших советских походных песен. Пели тогда чаще всего старинные песни — «Черный ворон», «Мимо острова на стрежень», «Ревела буря» и другие. А это была песня о них самих, о Чапаеве, любимом начдиве.

Никто в то время не задавался вопросом — кем она написана. Просто была хорошая песня, и ее пели.

Закончилась гражданская. Бойцы разехались по домам, и в сутолоке буден песня стала забываться. Возможно, и совсем потерялась бы она, но нашелся человек, который, спустя почти полвека, вспомнил о ней.

Старейший оренбургский композитор Павел Петрович Малый вот уже сорок лет собирает по крупницам жемчужины народной музыки. Вдоль и поперек исходил и извездил он оренбургскую степь.

Всем известна популярная песня «Седой Урал». Ее исполняет Уральский народный хор, она записана на пластинках. Но мало кто знает, что эту песню нашел и записал Павел Петрович Малый. Тогда он собирал фольклор в верхнеуральских станицах. В Краснохолме от столетнего крестьянина Михаила Ткачева услышал песню о реке Урал, о просторных степях, о русской славе, о героях, которые всегда готовы стать на защиту Родины. В обработке Павла Петровича она вновь зазвучала и стала служить людям.

Более четырехсот народных песен записано в тетрадах, которые толстой стопкой лежат на столе композитора. В одной из этих тетрадей недавно появилась и «Чапаевская».

Найти ее было нелегко. Однажды Павел Петрович записывал песни в селах Бузулукского района. И ему здесь рассказали, что в годы гражданской войны один местный бузулукский автор написал песню о Чапаеве.

Начались поиски. Были найдены два куплета. А где продолжение? Где ноты? Кто автор песни?

Несмотря на преклонный возраст, П. П. Малый выехал в Бузулук. Встречался там с участниками художественной самодеятельности, расспрашивал их об интересующей его песне. И он узнал имя автора текста и музыки. Им оказался недавно умерший преподаватель местного педучилища Иван Васильевич Колпаков. Вместе с сыном Колпакова, тоже музыкантом и самодеятельным композитором Лелем Ивановичем порылись в архиве и нашли полный текст песни. Правда, нот не было. Оставалась надежда, что они у второго сына И. В. Колпакова, Владимира, который служил в это время в армии.

Когда Владимир вернулся после службы в Бузулук, Павел Петрович встретился с ним.

Владимир жил в отцовском доме, и у него действительно хранился архив композитора. Долго разбирали содержимое объемистого сундука, пока не нашли ноты и текст. На порывешем от давности листке была надпись: «Чапаевская (Партизанская). Слова и музыка Ивана Колпакова».

...Еще в Петербурге, учась в консерватории, крестьянский сын из села Малаховка, Бузулукского уезда, Иван Колпаков познакомился с идеями социал-демократов и принял участие в революционном движении. По возвращении в Бузулук, в 1916 году, он стал выполнять задания подпольщиков. Когда Колпаковым заинтересовались жандармы, по совету товарищей он бежал в глухое село. Весной 1918 года по поручению большевиков Иван Колпаков организует партизанский отряд и становится в нем начальником штаба. Отчаянные схватки с белоказаками, с отрядом есаула Бородин, победы и поражения.

Потом отряд влился в чапаевскую дивизию, которая обосновалась в Бузулуке и готовилась к походу на Колчака. Тогда-то и написал Иван Васильевич свою песню.

Сейчас Павел Петрович Малый завершает многолетнюю работу над сборником «Народные песни Оренбургской области». В него войдут двести песен — лучшее из того, что собрал композитор. Достойное место в сборнике займет и «Чапаевская», которая обретет вторую жизнь.

В. АЛЬТОВ, Б. ЛАЗАРЕВ

# БАШКИРСКАЯ РЯЗАНЬ



Необыкновенные земли в нашем представлении обычно лежат за тридевять земель. И живут в тех землях необыкновенные люди. А вокруг нас вроде бы нет ничего интересного: все просто и обычно.

Это все от нашей слепоты. Можно иметь отличное зрение и ничего не видеть. Можно всю жизнь прожить в Башкирии, мечтая о тайге и трудных дорогах, и не знать, что совсем рядом, всего в сотне километров от Уфы, лежат глухие таежные дебри, и есть в них и медведи, и горные кручи, и пережат Сарышта, длиною в шесть километров, и даже есть места, где, как у нас любят говорить, «еще не ступала нога человека».

Почти у каждого из нас есть своя заветная сторона, вторая родина, где ты, может быть, никогда и не был, но, как и на родине, знаешь каждую тропинку, каждый ручеек, спрятавшийся в тени кустов. У одних это Михайловское, у других — Таруса, у третьих — Кинешма...

Я бы везде хотел быть, но больше всего люблю Рязанщину. Я никогда там не был, но эта грустная и звонкая сторона стала для меня второй родиной. Своей любовью я обязан Есенину. Он, а потом Паустовский, помогли мне увидеть и по-настоящему полюбить красоту средней полосы России. Экзотика поражает, но скоро приедается. Все великое — просто, зачастую даже неприметно, но, рассмотрев однажды, полюбишь его на всю жизнь.

Я тоскую по Рязани и часто вижу ее во сне. Каждый год собираюсь съездить туда и обязательно в сентябре. Я даже знаю, как это будет: сойду на каком-нибудь тихом полустанке, заброшу за спину тощий рюкзак и пойду березовыми лесами, вслушиваясь в шорох листьев и жухлой травы. Буду всматриваться в холодную воду стариц, спать в кучах листьев на лесных опушках и в стогах сена.

Но каждый год меня что-нибудь да задерживает.

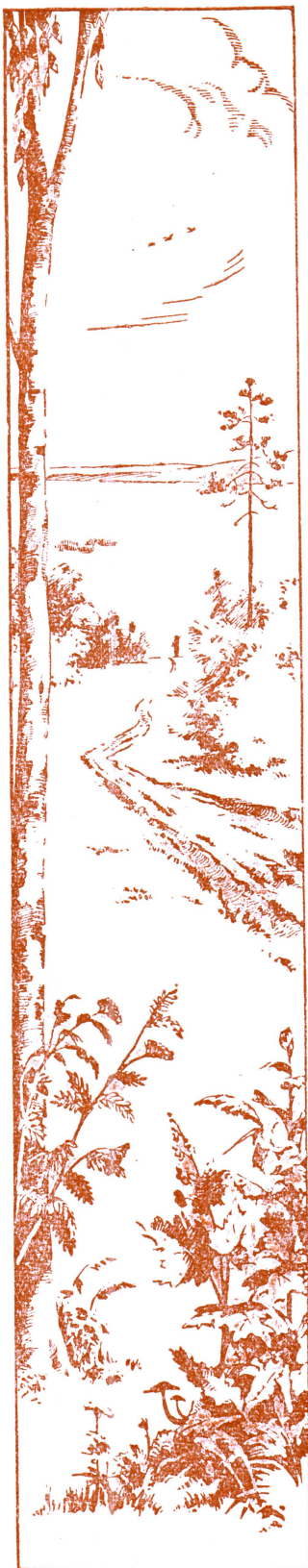
И в этом году в сентябре вместо Рязани мне пришлось ехать в командировку на северо-восток Башкирии, в Мечетлинский район. Там я попал в Теляшево, ничем не примечательную башкирскую деревеньку, затерянную в березовых перелесках на границе со Свердловской областью.

Я приехал в Теляшево хмурым холодным утром, сырой ветер свистел в полях и перелесках и заставлял зябко ежиться. Здесь уже давно шли затяжные дожди, дома были черными от воды, ворота разбухли и с трудом открывались, на улицу было страшно выйти: глинистая почва огромными комьями липла к сапогам.

Но даже в эту промозглую пору в природе было какое-то смутное очарование. Низкое небо почти касается вершин берез, они шумят и тянутся вслед бегущим на север облакам. И кажется, что сама деревня плывет к какому-то неведомому причалу по желтым березовым волнам, рассекая тупым носом-мельницей заросли седой полыни у пруда.

На полянах холодными кострами полыхают кусты рябины, а на горизонте не тухнет полоска теплого лимонного света.

Я обосновался на отшибе деревни в покосившейся избе с провалившейся крышей. В ней давно никто не живет, хозяин построил новый дом и все собирается пустить развалюху на дрова, но почему-то мешкает, и она по-прежнему дремлет по-старушечьи среди молодых берез, служа добрым пристанищем приезжим людям. Около избы нет ни построек, ни изгороди, все хозяйство состоит из ржавого топора, воткнутого в гнилой пень. Березы подходят к самому крыльцу и ветви заглядывают в окна.



В избе скрипучие шаткие половицы, по которым опасно ходить, и старенькая, потрескавшаяся от жары и времени буржуйка. Под потолком на длинном шесте висят веники и по вечерам, когда буржуйка топится, в избе пахнет баней. В желтом полумраке керосиновой лампы в углу темнеет огромная глиняная печь с деревянной заслонкой — ну точь-в-точь как у сказочного Иванушки-дурачка.

Ночи томительны и напряженны. Одиноко тарахтит сушилка на току, желтым электрическим пятном выделяясь в темной неподвижности перелесков. Тарахтит сонно и равнодушно — не в состоянии растревожить тишину. Ей иногда лениво помогают собаки. Если ночью выйти в лес, можно услышать, как медленно поднимается по склону холма туман, шурша листьями.

Утром я просыпаюсь от солнца, пробивающегося в щели между бревен. Некоторое время я еще лежу, щурясь от яркого и тонкого луча, потом стремительно вскакиваю и по холодному шаткому полу выхожу на крыльцо.

Трава покрыта инеем, и за мной тянется мокрый зеленый след. На току тихо, только галки стучат по заиндевшей крыше.

Лес окружает ток со всех сторон белой стеной березовых стволов. В лесу заросшие густым мхом дороги и тропинки. Они сходятся и расходятся, пересекают друг друга и неизвестно куда ведут.

К вечеру, оглушенный за день стрекотом тока, я перепрыгиваю через изгородь и сразу же попадаю в золотое марево берез.

Поднимаюсь все выше по склону холма. Кажется, что березам не будет конца. Жухлая трава под ногами сыра и прохладна. В небе еще солнечно, но внизу уже копится сумрак.

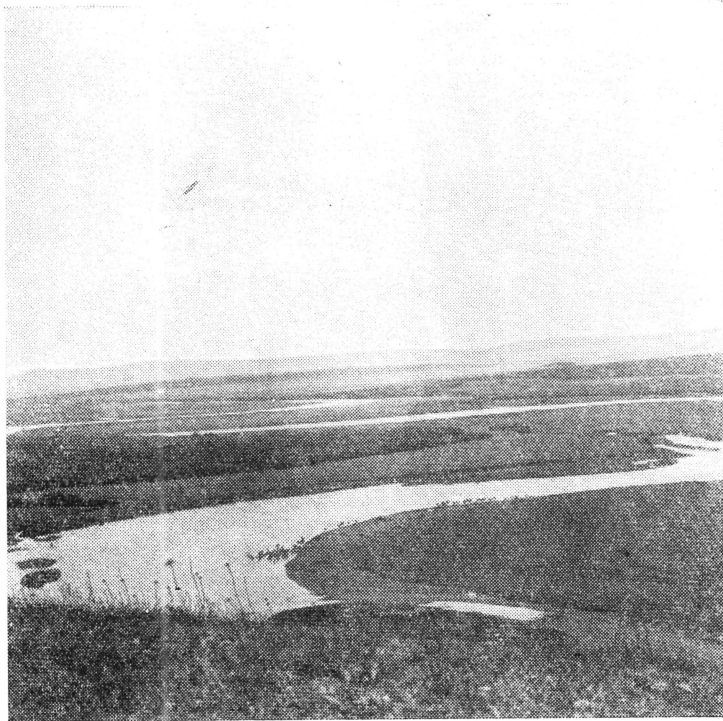
Заброшенная дорога в густом дубняке. Вершины деревьев почти смыкаются над ней. Листья под ногами — огненно-желтые. Их жалко топтать, их хочется собрать в одну огромную кучу, как рассыпанные кусочки большого грустного счастья.

Начинает темнеть. Солнце уже зашло, но леса еще светятся желто-зеленым полумраком. На вершине холма передо мной открылась большая поляна, а за ней внизу во все стороны до горизонта — молчаливые, горящие медью осиновые и березовые леса.

С севера потянуло холодом. Сумрак все сгущается. Тропа, сырая и узкая, петляет меж потемневших стволов. Листья под ногами в сумраке потеряли свой цвет, стали бурыми и от сырости шуршат







совсем тихо, еле слышно. Они о чем-то мне напоминают, что где-то я уже видел эту дорогу, но никак не могу вспомнить.

И вдруг я понял, что все это я «видел» в Рязани, в которой никогда не был. Все, о чем я читал у Есенина и Паустовского, я увидел здесь. Та же грустная стынь перелесков, хмурое небо, шорох падающей листвы и светлая полоса неба на горизонте.

Я спускаюсь по тропе все ниже. Впереди неясно слышен шум деревни: мычание коров, гогот гусей, лай собак. Запахло дымом и парным молоком. И мне начинает казаться, что я сейчас выйду не к башкирской деревне Теляшево, а к рязанскому селу Константиново или к Спас-Клепикам. И во тьме неясных стволов, в прелом запахе листвы я слышал грустный шорох стихов. И мне даже казалось, что никакой Рязани и не существует, и писал Есенин совсем не о ней, а об этих мечетлинских перелесках, об этих кобылах, ржущих в синюю стынь, о разбойничьем посвисте башкирских ветров, о золоте здешних полей. И я знаю, что где-то в Рязани есть тропа, очень похожая на эту, тоже ничем не примечательная, но тоже великая в своей простоте и печали.

Но присмотревшись — видишь, что это все-таки не Рязань. Это Башкирия, не менее прекрасная и величественная. И не так уж в них много похожего. Просто Есенин смог выразить в своих стихах то великое общее, что до слез нас потрясает.

Каждая земля прекрасна по-своему. Только нужно увидеть главное, что присуще этой земле. Прекрасна по-своему и пустыня. В пустыне с ужасом замечаешь, как неумолимо стремительно бежит время, так же неумолимо, как волны сыпучего песка, гонимые ветром в бесконечность. И становится страшно, что ты еще ничего не успел сделать.

Нет плохих земель. Только есть земли счастливые: как Кавказ, Крым или Мещера, которые нашли своего большого художника, и земли, которые еще ждут своей судьбы, своей любви, своего открытия. Мы же сами часто не в силах заметить щедро рассыпанные вокруг нас богатства.

М. ЧВАНОВ





## ИСТОРИЯ ОДНОГО ПЕЙЗАЖА

В феврале 1935 года известный пермский искусствовед Николай Николаевич Серебренников приобрел по случаю для художественной галереи картину. Она изображала хмурый осенний день где-то в таежных лесах.

Картина сохранилась плохо, была сильно загрязнена. Некогда звучные краски потускнели, холст покрылся трещинами. Полустертая, едва заметная надпись в левом нижнем углу полотна открыла имя автора — Петр Староносос.

Петр Николаевич Старонососов был более известен как видный советский гравер, чем живописец. В Перми он не бывал. Каким образом работа художника-москвича оказалась в Перми?

Владелец картины, инженер Николай Иванович Зудов, рассказал интересную историю приобретения этой и других работ Старонососова.

Было это на Дальнем Востоке в небольшом городке Ачинске, в декабре 1919 года. Проходя по перрону вокзала, Зудов увидел, что матросы оклеивают вагон какими-то картинками. Недолго думая, Николай Иванович выменял целый рулон картин на где-то найденную фанеру и картон. В рулоне оказалось десять картин с подписью — «Петр Старонососов». К рассказанному Зудов добавил: он знает, что в Перми и Свердловске еще есть картины этого художника.

Серебренников сообщил о случайной его находке автору картины. Вскоре пришел ответ художника. Он писал: «...письмо Ваше ошеломило меня. Это такое счастье, которое немислимо передать в письме. В настоящий момент я переживаю то же, что переживает мать, нашедшая своих детей. Они дороги мне, эти работы — плоды нескольких лет изучения тайги, которая навсегда до глубины души меня связала воспоминаниями о ее удивительно своеобразной красоте. В первый момент, как получил эту весть, я хотел броситься в Пермь и Свердловск, но пока удержал себя...»

Художник просил приобрести для него картины у Зудова. А в других письмах он рассказал о себе, о своих первых шагах в искусстве.

«Родился в Москве в 1893 году. Рисовать начал рано, но получить художественное образование так и не мог. Писал этюды, картины, даже пытался выставлять работы на выставке «независимых художников» и на очередной выставке передвижников. Но больше увлекла работа в сатирических журналах — в «Осе» и «Будильнике», где художественным отделом заведовал Д. С. Морор. А потом — армия, ранения и демобилизация... После всего виденного и пережитого было ясно: работать как прежде нельзя. Нельзя изображать жизнь, которую не видел, людей, которых не знаешь... Я бросил Москву и пошел в природу. Девять лет бродяжил по всему Союзу как художник. Урал явился первой ступенью в моей творческой жизни...»

Летом 1917 года Старонососов поселился в небольшой деревеньке Медведевка близ Златоуста. С ранней весны до морозов бродил он по тайге с самодельным этюдником и тощим солдатским мешком, пылливо глядяваясь в своеобразную уральскую природу.

Тогда-то он создал цикл работ о природе Южного Урала. Две из них — «Озеро Чебаркуль» и «Медведевка», написанные в 1918 году, хранятся в Пермской галерее. Сколько поэтически возвышенного в этих пейзажах! Уже нет робости первых опытов, художник уверенно развертывает панораму уральской природы.

Летом 1920 года, захватив многочисленные этюды и картины, Старонососов уехал в Красноярск. Снова писал, изучал природу Сибири. И вот как-то раз, возвращаясь домой с этюдов, он не нашел ни дома, ни работ. Все сгорело...

«В жизни редко бывают такие переживания. Я считал этот труд погибшим. И вдруг такая весть... читал и глазам не верил. Работы эти не так ценны с художественной стороны, как дороги мне как этап в моей художественной жизни».

Если даже и согласиться с такой суровой оценкой художником своих ранних работ, то нельзя не признать, что без них, без этого материала, помогавшего ему познавать жизнь, не было бы тогда Старонососова, каким мы знаем его теперь — художника большой правды, человека горячей творческой мысли.

Уже в 30-е годы Петр Николаевич Старонососов становится одним из ведущих мастеров советской гравюры. Он много ездит по стране, много работает. Из одной лишь Памирской экспедиции 1932 года он привез двести рисунков и акварелей, десять альбомов зарисовок. Это был не только отчет об очередной командировке, но и подвиг художника, первооткрывателя красоты советского Памира.

Но, пожалуй, важнейшей работой художника были гравюры-иллюстрации к книге Платона Керженцева «Жизнь Ленина». Эта серия была выполнена в 1934—1935 годы.

«Приходилось, работая, учиться и рисовать, и политически мыслить... Вся работа в целом стала для меня большой политической школой».

И в результате — первая в советском искусстве серия графических листов, документально точно, с большой художественной силой воссоздающая основные этапы жизни В. И. Ленина.

Добрые отношения с Пермской галереей Старонососов поддерживал до последних дней жизни. За год до смерти в 1941 году он прислал в Пермь еще несколько гравюр.

Г. ПОЛИКАРПОВА



П. Н. СТАРОНОСОВ

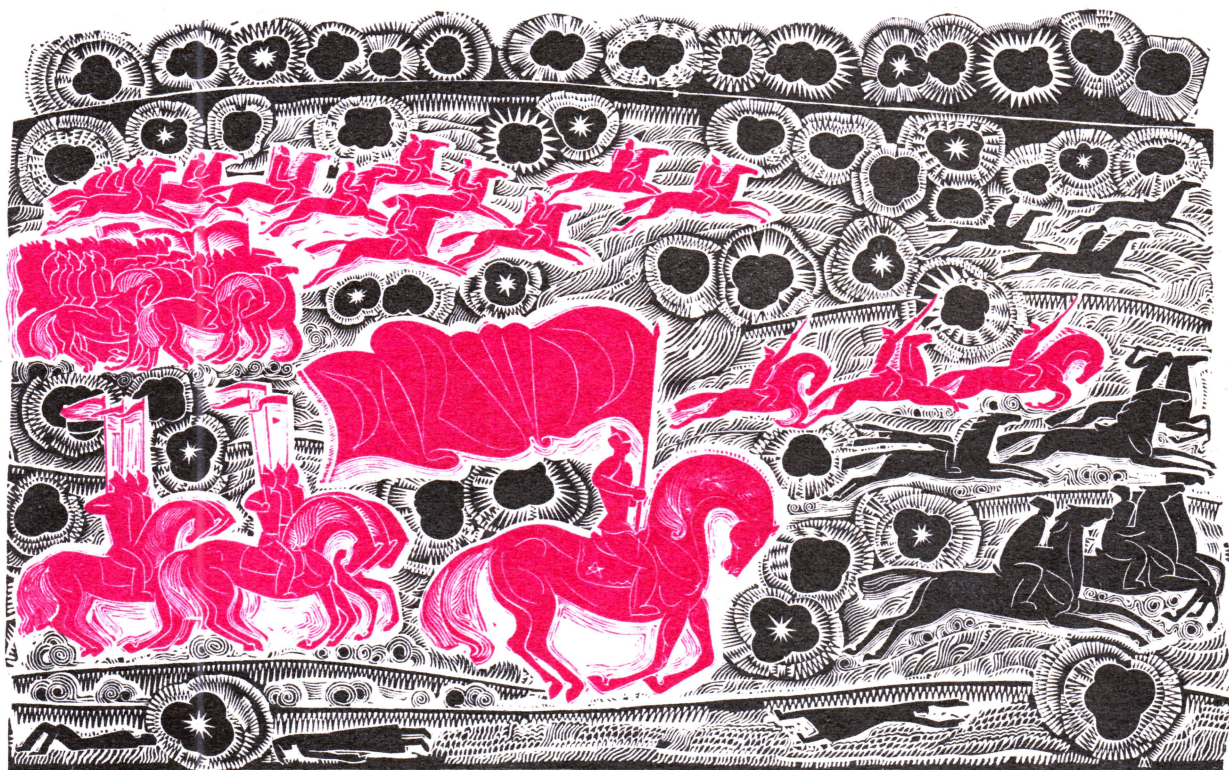
ДЕРЕВНЯ МЕДВЕДОВКА



А. МАРТЫНЕЦ (Харьков)

ТРУБАЧ

**НАС ВОДИЛА МОЛОДОСТЬ В САБЕЛЬНЫЙ ПОХОД**



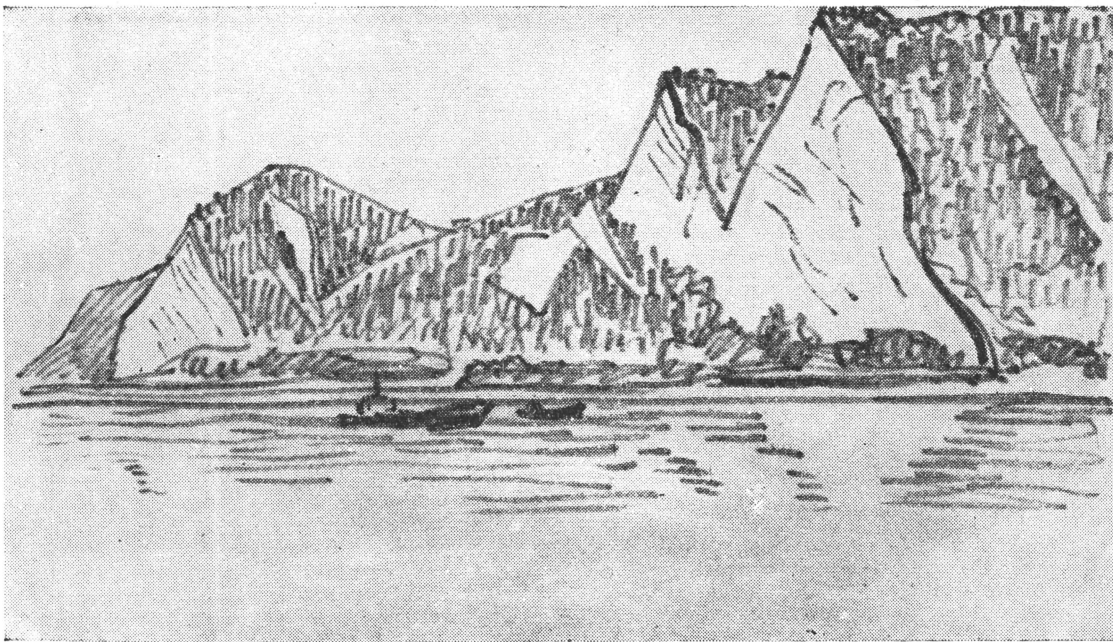
А. МАРТЫНЕЦ (Харьков)

ЗНАМЕНОСЕЦ



А. ТУМБАСОВ (Пермь)

РЕКА ЛЕНА. ПТИЧИЙ ПРИЮТ



# ЛЕНСКИЙ ЭКВАТОР

**А. ТУМБАСОВ**

На урски географии дежурный приносил карту. Помню вытертый до белого основания кружочек — здесь живем мы. Живем на склоне Уральских гор, правда, не в областном центре, но близко от него.

Карта мне казалась большой, как сама земля, измеренная в то время шагами лишь до ближних сел, а из учебников мы уже знали, что есть на свете пустыни, Север, тундра, Сибирь...

В моей памяти звучит голос учителя:

— Назовите и покажите на карте главные реки Сибири?

Обь, Енисей, Лена... Чтобы показать их на карте, каждую реку надо было распутать, как клубок, зацепившись указкой за хвостик истока. Я хорошо усвоил, что река Лена впадает в море Лаптевых, так как у нас в соседях жили Лаптевы, и был уверен, что они имеют какое-то отношение к этому морю. Соседи, конечно, ничего не знали про это, и я, следя за изгибами реки, водил указкой по Лене, к морю наших соседей.

После школы мне не приходилось чего-либо слышать о Лене, о реке, затерявшейся где-то на просторах сибирской земли, в стороне от попутных дорог. Но встреча с механиком Гудковым, бывшим речником Лены, зажгла во мне любопытство.

«Красавица, всем рекам — река», — отзывался

о Лене механик. Он не художник, а описал ее так, что я невольно захотел побывать на ней. И вот спустя годы, уже не для оценки учителя, отыскал Лену на карте и стал вглядываться в нее. Железная дорога приводит к пристани Усть-Кут, дальше по реке идут: Киренск, Чуя, Пеледуй, Олекминск — неслыханные никогда мною поселки и города. А памятное для меня море Лаптевых так далеко, что на карте дотянуться еще можно, а проплыть?.. Но кого не манят дальние края, кому не знакома страсть к путешествиям! И я двинулся в путь.

Земля велика! На востоке — утро, на западе — вечер, и смещение во времени так же интересно, как и в пространстве. Приехал в Красноярск с Урала, часы отстали на два, в Братске на три, дальше еще на час, с московским временем разница уже на шесть часов. Уезжая все дальше от дому, я переставлял свои часы на местное, сибирское время.

Город Усть-Кут, станция Лена, порт Осетрово — все в одной точке — я приехал на Лену. Речной вокзал напротив железнодорожного, как у нас в Перми. Пароходство подалее, диспетчерская еще дальше. Начались бега: к начальнику порта, к диспетчерам, от старшего — к рядовому, который, наконец, переправил меня на самоходку СП-832Г.

Капитана я нашел в рубке. Одетый по-маль-

17

чишески в берет, пеструю рубашку, в босоножках и руки в брюки, он стоял посредине рубки. Я уже знал, что фамилия его Байков, а зовут Владимир. Отчество не сказали: Байков один из молодых капитанов Лены.

\* \* \*

Потекли речные будни. Утренняя дымка, смешанная с гарью, туманит берега. Лесные пожары — спутники сибирского лета. Но чем севернее и дальше уходишь по Лене от больших городов, тем прозрачнее небо. Не едучая гарь, а черемуховый настой льется с берегов, сдобривая речной воздух.

Вдруг ровный и напряженный гул машины осекся. Капитан сдвинул берет на затылок:

— Отдать кормовой!



Колька

Загремела якорная цепь. Мне интересно — в чем дело?

Семафор закрыт.

— Вот так Лена, даже судам разойтись негде!

Но меня уверяют, что еще будет где разгуляться на просторе.

Пейзаж порой кажется до того знакомым, что забываешь, по Лене плывешь или по Каме. Такие же глинистые и красные берега, такие же деревни. Только дома по-сибирски: с кружевными наличниками и ставнями, будто напоказ выкрашенными белой краской и распахнутыми навстречу солнышку.

Прибежал Колька, сын поварихи Зои, и доложил:

— Город Киренск.

Это уже не точка на карте, которую я видел недавно, а старинный город на острове, во многом обновленный.

А Колька любопытный парень. Когда мы встретились и я хотел его нарисовать, он принялся энергично сдирать лупившуюся кожу с носа: вдруг на портрете будет заметно. Нос стал красным как свекла, но Колька успокоился, посидел, а потом залез на штурвал. Таким я его и зарисовал.

У нас каюта с третьим штурманом Леней. Он даже сонный чувствует нормальный ритм идущего судна. Сбавили обороты, Леня с койки и к окну: что там?

— Прошли скалу! — сообщил он, выглядывая в иллюминатор.

Здесь все, от Кольки до капитана, стараются показать мне большие и малые скалы, чтобы ничто впечатляющее не прошло мимо меня, художника.

У штурвала механик Юрий Георгиевич. Он в шутку журит меня, почему я поздно вышел на вахту и предупреждает:

— Готовься, скоро Щеки! Их будет три.

Он нацеливает носовую мачту, как мушку, на створы, и ведет судно по фарватеру. Лена теперь далеко не родня нашей Каме. Большой вздох земли уже не легкий, а глубокий: гора, лощина, гора, скала... И вот он первый утес, второй, третий. Носовая мачта идет влево, идет вправо, будто мечется, зажата в каменных стенах. Течение быстрое. У штурвала Байков, тут же механик, оба штурмана, рулевые-мотористы и Колька.

— Третья Щека самая опасная, — говорит капитан.

Самоходку так и несет на каменную стену, мушка-мачта упорно отклоняется. А что если выйдет из строя управление? Самоходка так и влетит в утес...

Когда миновали внушительные и опасные красоты ленских Щек, капитан спросил:

— Ну как?

Лена будто взмахнула крылом, удивила утесами, и снова пошли бархатные гряды, сглаженные холмы — плавное дыхание земли.

Владимир беспокоится, хватит ли у меня бумаги.

— Заправиться будет негде, — шутит он.

Час за часом идем все дальше на север. Сложно разветвляется Лена на острова и островки. Вот поселок пристроился на фоне гористого берега. В лодманской карте значится: Пеледуй.

— Началась страна Якутия, — говорит штурман.

На той площади, какую занимает Якутская АССР, разместится не одна европейская страна. Лена пробивается к морю через якутскую тайгу, лесотундру и тундру с вечной мерзлотой.

— Я СП-832, вызываю Ленск, вызываю Ленск, как поняли? Прием! — это механик выходит на связь с Ленском, а мне поручил штурвал.

Небольшим движением рулевого колеса вправо или влево я веду самоходку, правда, с оглядкой на механика. Юрий Георгиевич ободряет:

— Если лошадьи правил, так же и правь!

Старательно держу курс на береговые створные знаки, не выпуская «вожжи»-штурвал из рук. Самоходка кажется очень послушной. Я нацеливаю носовую мачту на белые пирамиды, самоход-



ка отклоняется, я опять нацеливаю мачту на створы,— слушается.

Вечер холодный. На светлом небе подкова молодого месяца. Он кажется золотым, а не серебряным, как обычно. Леса на холмах черные, вода оловянная, дали густо-синие.

— Завтра будет ленский экватор, кто проходит его впервые, будем купать,— улыбаясь, говорит капитан, натягивая свитер.

Я представляю солнце на южном экваторе и купанье в присутствии Посейдона — владыки морей. Но глядя на холодные северные краски, надеюсь, что купанье будет заменено обливанием, и не больше.

Ночь белая, светло, а спать хочется. Уснул и чувствую тормозит кто-то. Со сна едва разбираю, о чем говорит капитан.

— Купать не будем, а экватор зарисовать надо бы.

— Есть зарисовать,— очухался я и соскочил с койки.

Необычные гряды каменной волной двигались на самоходку. Они, казалось, загородили Лену, привидениями выплывая из белой ночи,— это экватор, середина Лены. Слева, раздвигая скалы, впадает речка Урх. Справа гряды и холмы обрываются над Леной каменными треугольниками, как пирамиды. Для прохождения экватора капитан и рулевой-моторист, молодой практикант Владимир Васев, надели мичманки



Капитан Владимир Байков



Столбы

Как всегда после необычного ленского пейзажа, капитан спросил меня:

— Ну как?

Лена перерождалась в раздольную Леницу, реку с широченной долиной. Холмы и горы отступили на десятки километров, но иногда они подходят к Лене, чтобы удивить каменными ребрами или показать скалы-зубы и клыки, а то и просто шубу-тайгу, как свалывшуюся густую шерсть на медвежьей шкуре.

Навстречу идут караваны, по семь-восемь барж за одним буксиром, теперь уж есть где разгуляться. А в устье, рассказывал капитан, Лена дробится на сотни протоков, образуя такую сетку, что между островами с непривычки можно заблудиться.

Идем с попутной водой вниз, на север, но поскольку Север на карте вверх, мне кажется, мы плывем вверх. А Братск, Усть-Кут, и тем более Байкал, остались далеко внизу.

Иногда берега настолько интересны, что даже за обедом я то и дело выбегаю из-за стола посмотреть на Лену.

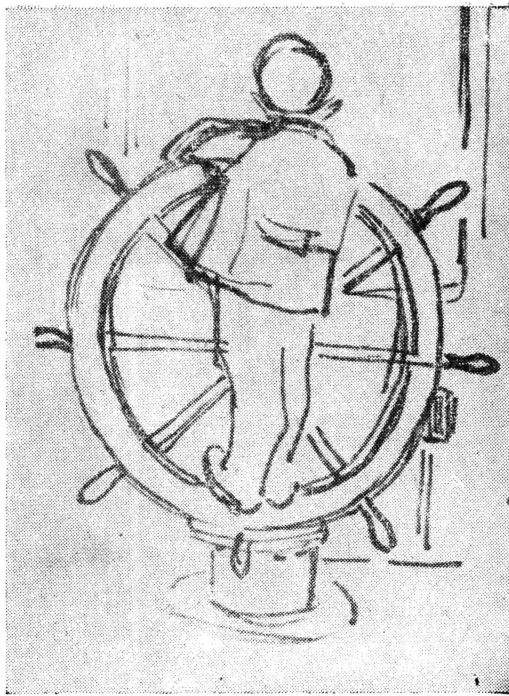
Над землей и над рекой кучевые облака. Впереди, прямо по курсу, облака потемнели и опустили длинные дождевые нити. А лучи солнца, путаясь в нитях, строят двойную радугу-дугу. Одна перекинулась низко над Леной, другая повыше.

В рубку прибежали и повариха Зоя, и свободные от вахты ребята. Прибежали посмотреть на явление природы.

— Сейчас пройдем под радугой,— сказал механик.

— В самом деле пройдем?— удивился Колька.

— Пройдем,— уверенно сказал капитан.



— Наверно, нет,— засомневался Колька и, округлив глаза, стал ждать.

Берега посуровели. Реденькие леса на холмах просвечивают насквозь. На крутых склонах ручьи из щебня — следы бурных весенних потоков. Они неслись вниз, намывая на берега Лены каменные груды, как накипь. Когда-то был цельный обрывистый берег — стена. Но время, ветер и дождь разрушили каменную стену, осыпали ее. Чахлые елочки, словно вытертые ершики, уцепились за гребни.

Вот и пошли скалы-столбы, похожие на древние замки, на башни, минареты, арки, пирамиды и снова на башни и столбы — началась каменная сказка.

Описать эту сказку невозможно, я едва успеваю делать наброски. Рисую как в лихорадке. О, если бы можно было остановить самоходку, но она равнодушно идет мимо нерукотворных изваяний, мимо фантастических столбов.

Не лучше ли бросить альбом и только смотреть? Смотреть, как природа на удивление человеку создала все это, чтобы еще раз напомнить, что она неповторимый художник.

Нам всем приходилось слышать о знаменитых Красноярских столбах, в защиту которых от паломничества не всегда природолюбивых туристов пишут газеты. Но мало кому не только видеть, а хотя бы слышать довелось о Ленских столбах, о каменной сказке, растянувшейся на двадцать пять километров.

Так вот она, Лена — не змейка на карте, а живая река! Холмы и горы то плавно шагают в

ногу с ней, то теснят реку, и она пугает утесами, страшает дикой скалой «Пьяный бык», то изумляет гребнями. А уж потом, чтобы запомнить и сохранить впечатление каменной сказки, берега сглаживаются, раздвигаясь в спокойную ширь. Можно спокойно обедать, не выбегая из-за стола, можно валяться в каюте и читать.

Небо по-северному бледное, в хрупких, как ледышки, перистых облаках. Лена в блетках и искорках солнышка. Острова зелеными ковригами плывут навстречу. Фарватер кажется запутанным, самоходка петляет. Но капитан в хорошем настроении.

— Ну как? — спрашивает он меня.

Я отделяюсь приятным в таких случаях одним словом:

— Здорово!

Солнце коснулось ровной линии горизонта. Полоска земли настолько тоненькая, что солнце вот-вот разрежет ее, как автогеном, и вода потечет через край. Тем более, что мне видится здесь край земли. Так кажется из-за тоненькой и прямой полоски тундры, из-за большого разлива Лены, из-за бледного неба, слившегося в один цвет с водой.

Там, показывают мне, Якутск. Но над ровным горизонтом я не вижу силуэта города, только стрелы портовых кранов. На рейде и у пирса — баржи, самоходки, морские и речные суда. И чего только на них нет: ящики, бочки, мешки, контейнеры, станки, машины, железо, трубы, баки, мотки проволоки, снова ящики, бочки... Город получает товары, запасается на долгую зиму.

В городе на вечной мерзлоте я впервые. Старые деревянные дома вросли в землю, новые, наоборот, подскочили. Новые кирпичные здания возводятся на сваях, и дома стоят, будто на подставках, без фундамента. Под домом сквозной просвет и вода. Хороводы тоненьких березок в мелких листочках разбежались вдоль улиц.

Солнце горячее. Якутское лето наступает враз и солнышку, можно сказать, не дают проходить, его ловят на ходу, к нему поворачиваются лицом, подставляют спины, и юбочки-мини, по последней моде, как нельзя кстати.

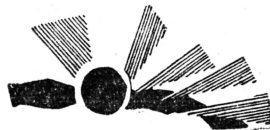
Капитан самоходки и механик предлагают мне еще погостить на Лене, но я тороплюсь, — обратный путь с ними займет недели две.

— Ну что ж, дома и солома едома, — сказал Байков, подавая на прощание руку.

Самолеты с красным килем, по прозвищу «Поларник», то разбегаются на взлет, то садятся. В динамике звучат города и поселки Крайнего Севера: Тикси, Верхоянск, Депутатский. И наш самолет разбежался и, завинчивая лопасти в прозрачный воздух белой ночи, стал набирать высоту над Якутском. А вот оно и солнце, спрятавшееся тут же, вблизи Якутска за Леной. Солнце казалось красным оттого, видимо, что мы неожиданно обнаружили его.

Внизу холодная, усыпанная серебром озер Якутия. Облака стоят, недвижно-белая ночь сковала их. А край земли опять загораживает солнце: мы улетаем от него.

— До встречи! — помахал я солнышку, восход которого мне посчастливилось увидеть дважды в эти сутки.



# ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ

## БОЛЬШЕВИК



*«Большое спасибо за присланную вами статью, я ее завтра же перешлю в институт Ленина и в музей Ленина. Я считаю, что статью надо напечатать, буду советоваться с издательствами... Очень советую вам продолжать литературную работу. О Чевевере пришлите все, что сможете. М. б. у вас есть фотокарточка? Необходимо, чтобы история гражданской войны осталась у нас в живых образах.*

*Крепко жму руку*

*Н. Крупская*

*30 июня 1937 г.»*

**Э**то письмо Надежды Константиновны адресовано участнику чеверевского отряда Анисимову.

Сын вольного оренбургского казака, впоследствии модельного мастера на Уфимском чугунолитейном заводе Гутмана, Саша Чевеверев девятнадцати лет в 1908 году вступил в партию большевиков.

История завода хранит такой эпизод. Гутман знал, что Сашка, как тогда звали Чевеверева в цехе, подбивает рабочих требовать надбавку к жалованию. Хозяин вызвал отца беспокойного парня.

— Ты что не останавливаешь сынка? Не можешь вбить ему в башку, что он ест мой хлеб. Смотри, если твой шарлатан не перестанет болтать языком, я его выгоню вон!

В тот же день дома Михаил Тимофеевич передал Саше разговор с Гутманом.

— Наплевать. Пусть увольняет. Не страшно! — И продолжал агитацию среди рабочих с еще большей энергией. Его уволили.

Много пришлось Саше Чевевереву исколесить дорог, не раз менял адреса. Бурлак в Астрахани, шахтер в Донбассе, рабочий паровозосборочного цеха в Чите. На Симском заводе он собирал молотилки, руководил самодельным кружком молодежи. В Башкирии Чевеверев организовал один из первых красногвардейских отрядов на Урале.

**В** оренбургских степях свирепствовал атаман оренбургского казачьего войска Дутов. Он хотел захватить Урал, а затем двинуть на Петроград. В декабре 1917 года атаман установил свою власть в Оренбурге, стал стягивать силы, чтобы вести наступление дальше.

Со своим отрядом Чевеверев одним из первых отправился на помощь оренбургским рабочим. Сюда же прибыли красногвардейцы из Челябинска, Самары и других городов. После упорных боев Дутов оставил город и отступил к Верхнеуральску.

Чевеверев решил захватить атамана живым. Опасная операция: за ночь предстояло сделать марш-бросок из Белорецка до Верхнеуральска —

55 верст — и внезапным ударом разгромить штаб Дутова.

«Авось удастся захватить его в плен,— сказал друзьям Александр.— Хороший подарок привезли бы в Уфу».

Утром, когда штабисты еще спали, а дозорные и часовые дремали, чеверевцы неожиданно атаковали город. Дутов, услышав выстрелы, вскочил с кровати и в одном белье бросился бежать. Чеверев за ним. Один выстрел, второй... Но... упал бежавший вместе с Дутовым адъютант, а атаман скрылся. Над Верхнеуральском развеялось красное знамя.



Чеверевцы рассказывают, что самый ожесточенный бой они вели накануне первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. К этому времени отряд Чеверева развернулся в полк, вошел в состав 28-й стрелковой Азинской дивизии.

— Было это на подступах к Ижевску, где белогвардейцы оборонялись с дьявольским упорством. Мы воевали,— вспоминает ветеран гражданской войны Зия Шарафутдинович Шарипов,— не зная усталости и уныния, уверенные в своей силе. Авторитет Чеверева был знаменем для нас. Дисциплина установилась крепкая, боевая. Между бойцами и командирами царил дух товарищества. Каждый считал за честь воевать под началом Александра Михайловича. И когда мы узнали, что будем первыми атаковать врага в Ижевске, не колеблясь, решительно пошли в бой.

Белые ожесточенно сопротивлялись. Но красные артиллеристы, пулеметчики, конники и пехотинцы шаг за шагом отвоевывали у врага город.

7 ноября 1918 года над Ижевском взвилось красное знамя. Владимир Ильич Ленин послал телеграмму бойцам и командирам, освобождавшим город:

«Приветствую доблестные красноармейские войска со взятием Ижевска. Поздравляю с годовщиной революции. Да здравствует социалистическая армия.

Ленин».

Вскоре Александра Чеверева, как одного из участников штурма города, наградили орденом Красного Знамени.



22 **М** е любил Чеверев войну на бумаге. Его стихией были бои, сражения. Не потому ли он, боевой и прославленный командир, рвался на фронт, будучи в академии генштаба, куда его направили в начале 1919 года! Как ни старались

в Москве убедить Александра Михайловича продолжать учебу, Чеверев отвечал:

— Я лучше буду учиться на живой практике, жевать сухую теорию в такое время — не в моем характере.

Летом его послали на новый фронт революции, не менее опасный и трудный, чем война — к крестьянам. Надо было убедить их сдавать излишки хлеба государству.

Чеверев формировал продовольственные отряды по Уфимской губернии. Ездил из деревни в деревню, проводил митинги, собрания, беседовал с людьми. Крестьяне верили ему, сдавали хлеб. Этому способствовал и личный авторитет Чеверева. В некоторых деревнях он встречал бывших боевых товарищей, которые много рассказывали землякам о своем командире.

Вот в каком-то селе к нему подошел татарин и протянул дрожащую старческую руку:

— Слыхал про тебя и стричать пошел тибя. Бульна скучал, бульно скучал! Ай, как дулга не видал тебя!

Крестьяне окружили Чеверева, внимательно слушали. Многие узнали в нем того, кто раздавал им имущество помещиков, купцов, мулл.

— А где твои сыновья? — спросил Чеверев.

— Один ульган каншал белый на войне. Два жива, Красной Армии гуляет.

Старика звали Хасаном. С тремя сыновьями летом 1918 года он добровольно вступил в отряд Чеверева. В Башкирском краеведческом музее хранится фотокопия документа:

#### АТТЕСТАЦИЯ

Дана сия аттестация командиром 22-й отдельной Бригады Войск внутренней охраны Советской Республики Чеверевым гражданину села Эбанаево Асановской волости Сарвардину Хасанову в том, что он с первых дней восстания чехословацких банд один из первых вступил с тремя сыновьями в ряды добровольцев Красной Армии.

Сыновья его и по сие время состоят в ней и бьются на польском фронте. Он же по преклонности лет был уволен на отдых домой.

Всем советским организациям и должностным лицам просьба оказывать всякое законное внимание.

А поэтому командир 22-й отдельной стрелковой Бригады Войск внутренней охраны республики свидетельствует Сарвардина Хасанова, как честного и преданного работника Советской власти. Изложенное подписью удостоверяется.

Командир 22-й отдельной стрелковой бригады  
А. ЧЕВЕРЕВ.

13 августа.  
с. Дюртюли.

Рассказывают, в Дюртюлях мулла обвинили в антисоветской агитации и арестовали. Чеверев лично расследовал и установил, что тот не виноват.

Выпустил арестованного из тюрьмы. Мулла бросился к Чевереву:

— Ай, спасибо, ай, спасибо, Чеверья! Тапирь мы сам будем балшавик, баба моя будет балшавик.

Боевики залились смехом. Александр Михайлович похлопал мулле по плечу:

— Ну, ну, посмотрим.

Нет, недаром крестьяне называли Чеверева самым справедливым человеком.

Доктор исторических наук А. П. Кучкин написал мне, что «Чеверев был практически проводником национальной политики партии. Это он показал на деле во время действия его отряда в Дюртюлях, когда его малочисленный отряд превратился в более чем тысячный. Ведь после его обращения к башкирам помочь в борьбе с белогвардейцами и белочехами к нему явилось более пяти тысяч человек... И это произошло потому, что Чеверев умел подойти к башкирам. Сыграла свою роль раздача беднякам конфискованного имущества богача, кажется, Максютова... Он был любимцем у народов всех национальностей и любимцем у всех разнонациональных бойцов».

Уже позже, будучи на Кавказе, Александр Михайлович Чеверев замечал, что там нарушается национальная политика партии. Он предпринял специальную поездку в Москву, чтобы рассказать Ленину о положении дел, в частности, в Дагестане.

**В**стреча военного комиссара отдельной Дагестанской стрелковой бригады Александра Чеверева с В. И. Лениным произошла летом

1921 года. Вот как она описана Георгием Крыловым в брошюре, изданной в 1924 году<sup>1</sup>.

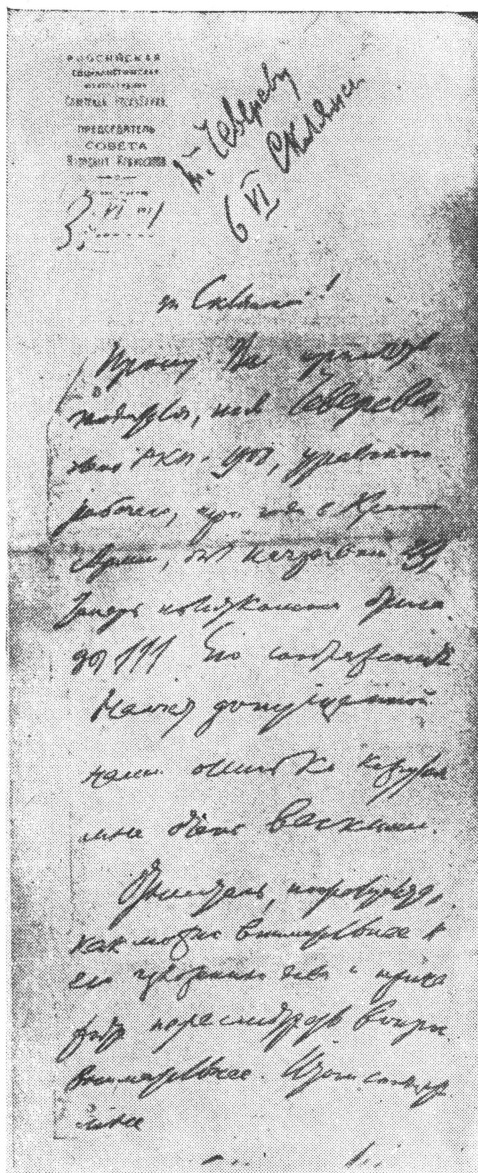
«...Владимир Ильич подробно расспрашивал Чеверева о настроении солдат, командиров, спросил, где он сам воевал.

Внимательно выслушав собеседника, Ильич слегка улыбнулся, встал со стула, подошел к географической карте, висевшей на стене. Чеверев пристально следил за действиями Ленина.

— Где же тут Ижевский завод? — спросил Ильич, ткнув пальцем в столицу Австро-Венгрии. — Здесь, что ли?

Владимир Ильич решил, видимо, проверить

<sup>1</sup> Георгий Крылов «Сашка Чеверев». Уфа, 1924 год.



географические познания командира. В указанном районе Чеверев не нашел Ижевск.

— Нет, товарищ Ленин, — ответил он, — это Венгрия. — Мы пока справляемся со своей буржуазией, а с ними справимся после, потом.

Ильич улыбнулся.

Чеверев протянул руку вправо, на северо-восток по карте, и, поискав немного, сказал:

— Вот здесь Ижевский завод!

Владимир Ильич взял Чеверева за руку, подвел к дивану и посадил его рядом с собой.

— Что, по-вашему, должен делать коммунист, чтобы выйти победителем в борьбе с буржуазией?

— Я,— начал Чеверева и... сделал паузу, словно собираясь с мыслями,— представляю буржуазию, как большой кулак. Для того, чтобы нам победить, необходимо нарастить свой кулак и ударить им с такой силой, чтобы голова нашего врага разлетелась на мелкие части.

— А как вы смотрите на проводимую нами национальную политику? — вдруг спросил Ленин.

— Я полагаю, что национальные меньшинства, как народы малокультурные, поработанные царизмом, настоятельно нуждаются в самоопределении, которое и выведет их на путь просвещения и коммунизма. Это возможно, конечно, при усиленной работе самих коммунистов среди этих наций. В этом отношении мы допускаем ошибки. Живя на Кавказе, я наблюдал такие случаи. Приезжает из Москвы член партии, командированный для работы среди армян и черкесов. И что же? Первым делом старается показать этой гордой нации свой аршинный мандат, лезет к ним в душу обеими руками, вырывает оттуда их магомета, а взамен не дает ничего. Все это делается часто неумело и грубо. Такая политика вряд ли пользу приносит.

Владимир Ильич внимательно выслушал Чеверева, взял лист белой бумаги и мелким почерком написал:

*«Т. Склянский! Прошу вас принять подателя, тов. Чеверева, члена РКП — 1908, уральского рабочего, три года в Красной Армии, был начдивом 23, теперь политкомом бригады 111. Его соображения насчет допущенной нами ошибки кажутся мне очень вескими.*

*Отнеситесь, пожалуйста, как можно внима-*

*тельнее к его изложению дела и прикажите рассмотреть вопрос внимательнее.*

*Итоги сообщите мне.*

*С ком. приветом  
Ленин»<sup>1</sup>.*

3 июня 1921 г.

Владимир Ильич попрощался с боевым командиром, пожал ему руку и пожелал новых успехов.

С письмом Ленина Чеверева отправился к Склянскому — заместителю Народного Комиссара по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета Республики. Уже в пути он решил во что бы то ни стало оставить у себя, как память, письмо Ленина, хотя оно и адресовано было не ему.

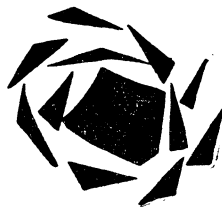
Склянский принял Чеверева, выслушал его, потом написал: «Чевереву» и отдал письмо Ильича Александру Михайловичу.

...2 октября 1921 года перестало биться спокойное сердце Александра Чеверева. В день похорон 4 октября все учреждения Уфы в 3 часа прекратили работу. Весь город проводил его в последний путь. Газеты писали:

«По происхождению — казак, по профессии — рабочий, по складу души и наклонности — чистой воды большевик». «За все время гражданской войны он бесменно находился на различных фронтах с винтовкой в руках, защищая те идеи, то дело пролетариата, к которому призывал всякого». «Он ненавидел всеми фибрами души буржуазию, которая трепетала при одном его имени».

**В. ЕРАНОСЬЯН**

<sup>1</sup> В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 245.



# У ПОЛЮСОВ ЗЕМЛИ



**М. СОМОВ, Герой Советского Союза,  
доктор географических наук.**

*Рисунки Ю. Ефимова*

## «Дарья» ведет разведку

В Центральный институт погоды я попал по разверстке сразу из вуза. Работая там, выбрал себе в качестве объекта будущих исследований Азовское море, а об Арктике и не помышлял. Но дирекция института предложила заняться ледовым режимом арктических морей, чтобы подготовить долгосрочный ледовый прогноз по всей трассе Северного морского пути на навигацию 1938 года. Это решило всю мою судьбу.

Задание мы выполняли вдвоем с И. Г. Овчинниковым, тогда еще практикантом Московского гидро-метеорологического института, по материалам института погоды. В то время прогнозы разрабатывали только маститые ученые и, естественно, мы волновались. Наш прогноз был признан и использован.

Вскоре вслед за этим гидрологов-ледовиков стали привлекать к авиаразведке в качестве наблюдателей за льдами.

Я был направлен в Красноярск, чтобы там сесть на гидросамолет летчика В. М. Махоткина. Никогда прежде я не летал. У меня не было представления не только о том, что понадобится мне в Арктике из одежды, но и о том, как буду я вести наблюдения и фиксировать их. Привезенное мной в Красноярск обмундирование было забраковано первым же опытным человеком. Пришлось сменить оленью малицу, валенки и брезентовый костюм на меховые рубашку и брюки, меховые унты и чулки, шлем на меху и ботлотные сапоги.

В жарком, летнем Красноярске я познакомился с полярными летчиками. Эти здоровые, молодые люди в комбинезонах и летных шлемах останавливались в нашей гостинице. Все они были влюблены в свою профессию, много рассказывали. От них я узнал о типах самолетов, обязанностях членов экипажа, об основах авионавигации и многом другом.

Самолет, на котором мне предстояло лететь, был типа Дорнье-Валь, — здесь их фамильярно звали «Дарьями». Махоткина я не дождался —

он прилетел в Арктику через Архангельск, — и на Диксон меня дружески «подбросил» другой летчик — Сырокваша.

Летели мы на высоте двух-трех тысяч метров. До Игарки — над сплошной тайгой, над величественными сибирскими лесами. В Дудинке бушевал шторм. Мы пролетели вдоль Енисея и оказались над Енисейским заливом. За поворотным мысом открылась группа мелких островов, среди которых выделялся подковообразной формы остров побольше. Это и был Диксон. Радиомачта казалась воткнутой в него вязальной спицей. Серые деревянные домишки, мачты антенного поля. Глинистая сырая земля. И это Арктика?

Я был разочарован: никакого величия. Все выглядело сереньким, даже убогим.

Самолет пошел на посадку и сел на воду против ветра. С берега за нами пришла шлюпка. Мы зачехлили покачивавшийся на воде самолет и погрузились в полузаотпленную шлюпку. Сидеть было нельзя —плыли стоя. Кто-то вез, прижав к груди, огромный букет полевых цветов.

Назавтра Сырокваша улетел, а дней через десять меня забрал Махоткин, и мы с ним перебазировались на Усть-Таймыр. Здесь в ту пору была лишь маленькая полярная станция. В крошечном домике помещались и радиостанция, и силовая установка. Жили на станции метеоролог, радист и механик, а теперь к ним добавились еще экипажи двух самолетов. Мы нашли свободную площадь лишь на чердаке и спали там в меховых спальнях мешках, обдуваемые ветром из слухового окна. Начинались заморозки.

Поначалу работы не было. Развлекались рыбной ловлей и охотой. Рыба в Усть-Таймыре ловилась легко. В дырявой сетке запутывались жирные гольцы длиной иногда больше метра. По вкусу они были схожи с семгой и кетой.

Наконец пришло долгожданное задание на ледовую разведку. Надо было обследовать подходы с запада к проливу Вилькицкого.

Сборы были недолги. Машина стояла в бухте — полностью заправленная и подготовленная



М. М. Сомов

к длительному полету. Задерживала только «авиапогода», т. е. сводка метеоусловий на всей трассе нашего полета. «Авиапогоду» Махоткин заказал сразу же, как только было получено задание. Это означало, что все полярные станции, расположенные в районе предстоящего полета, должны были начать ежечасные передачи по радио в Усть-Таймыр своих наблюдений за ветром, температурой воздуха, видимостью, облачностью и осадками. Кроме этого, Махоткин заказал Диксону срочный прогноз на сутки вперед.

Вскоре Диксон сообщил свой прогноз, обещавший в интересовавшем нас районе, правда, не блестящие, но вполне подходящие для полета метеоусловия. Начавшие регулярно поступать с полярных станций сводки также не таили в себе угроз. Получив эти сведения, мы перебрались на шлюпке к самолету, расчехлили его, запустили моторы и поднялись в воздух. Сделав круг над бухтой, развернулись курсом на север и пошли в море, к архипелагу Норденшельда.

Льды начали встречаться нам очень скоро. Сначала это были разбросанные отдельные льдины самых причудливых форм, потом обширные пятна сплоченных, главным образом мелкобитых льдов. Я торопливо записывал все, что видел, одновременно с интересом рассматривая льды. Ведь я их видел впервые.

Пока льды были сильно разрежены и было их мало, делать подробное описание не составляло труда. Но когда пошли поля из мелких льдин и всевозможные по форме разводья, вести описание стало трудно. Попытался было зарисовать льдины и разводья на бланковых картах, но карты были настолько мелкого масштаба, что уместить на них в условных обозначениях всю

ледовую обстановку было невозможно. Кроме того, я не знал, над каким местом мы пролетаем.

Пришлось комбинировать запись со схематическими зарисовками прямо в записной книжке, одновременно тщательно отмечая время. Я рассчитывал, что, вернувшись на базу, смогу по полетной карте, составленной Махоткиным, определить, где и что я видел.

Но вот впереди показался предательский островок. Махоткин, резко изменив курс, пошел прямо на него. Где теперь у меня был север?

Новое разочарование постигло меня, когда мы подошли к острову. Сколько ни смотрел на свою карту, никакого, даже отдаленно похожего острова я на ней не находил. Вскоре показались еще один остров. Потом еще и еще. На моей же карте никаких островов не было. Стало очевидным, что карты мои и не точны и не полны.

Мы продолжали лететь ломаными курсами от острова к острову. Я окончательно потерял ориентировку, но сдаваться все же не хотел. Схематические зарисовки теперь я делал, ориентируя их не по странам света, а по отношению к курсу самолета. Я упорно продолжал работать, хотя и опасался, что все мои труды могут оказаться бессмысленными. Утешал, правда, себя тем, что это был лишь первый мой полет и что в дальнейшем удастся кое-что исправить. Вся беда заключалась в полной моей оторванности от Махоткина. Если бы только я имел возможность в течение всего полета знать, где мы летим, или хотя бы ориентироваться по странам света, все пошло бы как по маслу.

И все же мне удалось увидеть многое.

У пролива Вилькицкого нам приказали подойти к каравану ледокола «Ермак», застрявшему во льдах, и указать наиболее доступные проходы на восток. Когда мы подошли к «Ермаку», то вся безвыходность положения каравана показалась мне даже забавной, настолько сверху все было ясно видно. Отыскивая проходы на восток, «Ермак» зашел в ледовый тупик и беспомощно лег в дрейф. К востоку от него простирались непроходимые ледяные поля. С ледокола казалось, что путь на восток закрыт. А нам с воздуха было видно, что всего в нескольких милях к северу от каравана море полностью свободно ото льдов и что караван без всяких затруднений может пройти до самого пролива. Для этого ему нужно было только вернуться обратно и, не заходя больше в лед, обойти его с севера. Все это и было передано ледоколу по радио.

Единственным ощутимым моим достижением в первом полете было то, что я научился оценивать в баллах сплоченность льда. В этом я убедился, когда вернулся в Усть-Таймыр и тщательно сравнил все свои оценки с махоткинскими. Расхождения у нас с ним были весьма редкими и не превышали одного балла.

Махоткин старался мне помочь в последующих полетах. Перед полетом он стал разрабатывать детально свой маршрут и знакомить меня с ним. Кроме этого, мы заранее договорились об условных сигналах: при каждом изменении курса он покачивал крыльями, а начиная новый отрезок маршрута, — поднимал руку.

В особых случаях, когда курс изменялся неожиданно, он через механика или радиста присылал мне записку о том, на какой новый курс мы легли. Помог он мне во многом и своими практическими советами. Я понял, что вообще пытаться нанести на карту ледовую обстановку



во всех ее деталях бессмысленно. Такие характеристики льда, как его сплоченность, нужно все время мысленно осреднять для больших площадей уже в самом процессе наблюдений.

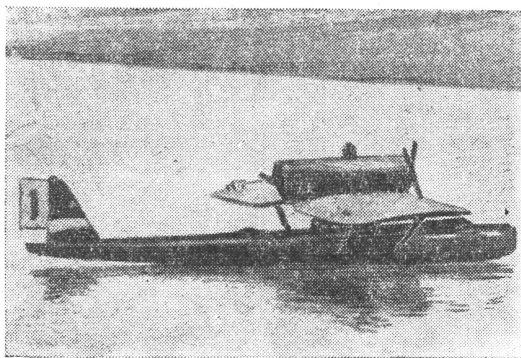
Несмотря на все это, мои сводки и в дальнейшем оставались почти полностью непригодными для практического использования, и все потому, что я, как наблюдатель, был оторван не только от полетной карты, но и от основных навигационных приборов. Как мог я, например, оценивать расстояние на глаз, не зная высоты полета и не видя никаких предметов на море, за которые мог бы зацепиться глаз, как за меру масштаба? А расстояние оценивать приходилось почти непрерывно. Надо было фиксировать и ширину ледяной перемычки, и размер прибрежной полыньи, и величину сохранившегося у берега припая, и расстояние до кромки льдов, виднеющихся в стороне от курса.

Пожалуй, может возникнуть естественный вопрос: а не могли я пересечь куда-нибудь поближе к Махоткину? Не мог. И вот почему. Экипаж Махоткина был единственный в своем роде. В нем не было ни штурмана, ни второго пилота. Прекрасно знающий Карское море, Махоткин ориентировался в нем не хуже, чем старый московский извозчик в кривых московских переулках и тупиках. Радист Гриша Абросимов располагался у него вместе со своей рацией не в средней части лодки, как на остальных самолетах, а на носу, на штурманском месте, в так называемом «Моссельпроме». Он помогал Махоткину в штурманской работе, определяя трубой Герца путевую скорость и угол сноса и производя кое-какие штурманские расчеты. Кстати, махоткинские уроки пошли ему впрок, и впоследствии Абросимов летал уже в качестве штурмана. Не мог я пересечь и на место второго пилота, так как его занимал борт-механик, перемещенный туда Махоткиным из бакового отсека. В нужную минуту, когда Махоткин вынужден был бросать управление для выполнения штурманских обязанностей или для записей наблюдений, борт-механик заменял второго пилота и сам вел самолет.

Вот почему результаты моей деятельности в роли наблюдателя в эту навигацию, несмотря на все старания, так и остались более чем скромными.

## До седьмого пота

Во время ледовых разведок мы продолжали базироваться на Усть-Таймыре, хотя никакой авиабазы по существу в то время там еще и не

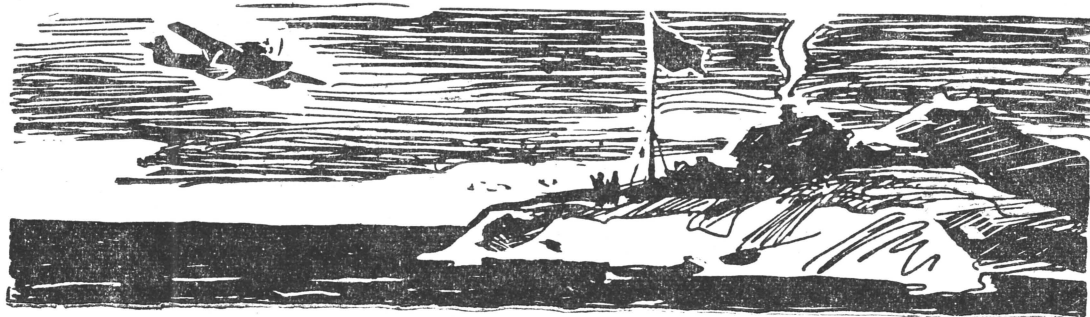


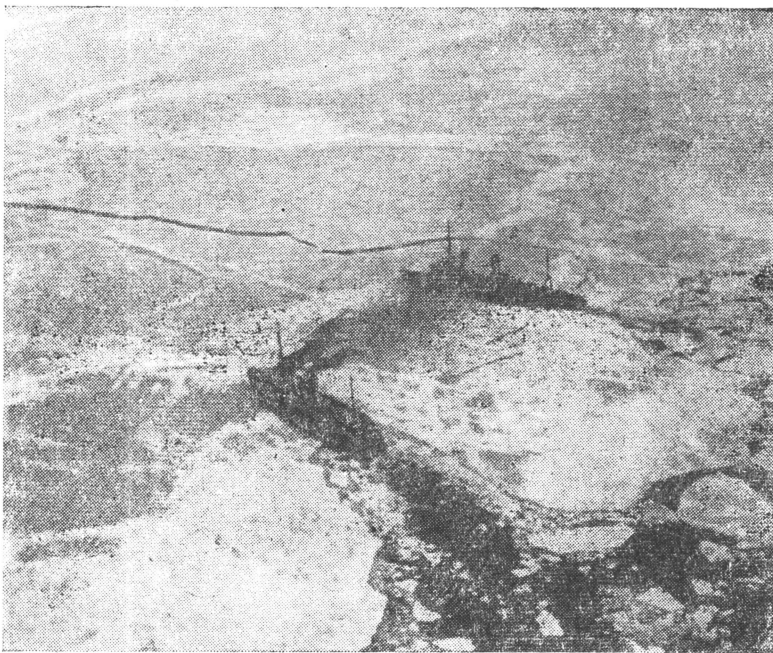
было. Просто бухта около полярной станции была удобна для посадки и отстоя самолетов. Техническое же оснащение базы заключалось в штабеле бочек с бензином и маслом на берегу и в старой тяжелой и неуклюжей шлюпке. Кстати, все бочки были пустые. В предшествующий 1937 год исключительно тяжелые ледовые условия в восточной части Карского моря привели к тому, что пароход-снабженец в Усть-Таймыр пробиться не смог в течение всей навигации. Эта полярная станция осталась на 1938 год не только без бензина, но и без свежего продовольствия. В результате мы не только должны были мириться с однообразным питанием, но и направлять машины летали на мыс Стерлегова. А там свои неудобства: имелся бензин, но не было места для размещения экипажей. Кроме того, мыс Стерлегова неудобен для базирования еще и потому, что слишком удален от основного района ледовой разведки.

Как осуществлялась в те времена заправка самолета на мысе Стерлегова?

Самолет садился в устье реки Ленивой и подруливал к правому обрывистому берегу, где лежали бочки с бензином. Подножье крутого берега представляло собой узкий пляж, состоявший из илистого песка. К нему-то и подходил самолет.

В обрыве берега кое-где виднелись обнаженные линзы ископаемого льда. Летом, когда этот лед начинал таять, берег быстро разрушался, сползая вниз. Весь обрыв тогда покрывался потоками жидкой грязи, стекающей на пляж. Пляж был коварный. То идешь по нему и он тебя дер-





Сверху, из «Дарьи», хорошо было видно, как ледоколы пробивают канал во льдах

жит, как всякий нормальный песчаный берег, то вдруг мгновенно проваливаешься по колено или даже по пояс. И уже тогда без посторонней помощи выбраться из этой трясины почти невозможно.

Чтобы избежать подобных неприятностей, мы пользовались дощечками, но и они не гарантировали от грязевых ванн. В первое же посещение мыса Стерлегова, оступившись на мокрых и скользких дощечках, я увяз в грязи почти по пояс, откуда меня вытаскивали всем экипажем. После того мне пришлось еще долго возиться, извлекая свои болотные сапоги.

Бочки с бензином лежали рядами в тундре на высоком берегу, метрах в ста от обрывистого края. От края обрыва они были удалены потому, что берег, разрушаясь, отступал с угрожающей скоростью.

Заправка самолета происходила так. Весь экипаж высаживался на коварный грязевый пляж, по дощечкам добирался до обрыва и затем штурмовал восьми-десятиметровую отвесную высоту, выбирая между потоками грязи наиболее твердые выступы. Возбравшись на берег, каждый брал бочку и катил ее к обрыву. Уместно напомнить, что вес бочки с бензином около 250 килограммов, а катить ее приходилось до обрыва метров сто по вязкому грунту. Так как для заправки самолета обычно требовалось шесть-восемь бочек, то на долю некоторых членов экипажа доставалось по два рейса. Бочки мы подкатывали к самому краю и сталкивали вниз. Падая на полужидкий пляж, они не разбивались, но зато вязли в нем почти наполовину.

Из грязи их извлекали общими усилиями на доски. Так, по доскам, и подкатывали их к самолету. Дальше предстояло весь бензин перекачать в самолетные баки. При этом бензин процеживался через замшу. А так как во время заправочного рейса бензин в бочках взбалтывался,

то замша постоянно забивалась отставшей от бочек ржавчиной. Одним словом, заправка была трудной и долгой. К тому же мы занимались ею обычно после ледовой разведки, то есть после шести-восьмичасового полета.

Окончив заправку, перепачканные в грязи, а часто и промокшие под дождем, мы возвращались к себе на базу. Усталым, грязным и мокрым нам предстояло еще часа три пробыть в воздухе, прежде чем можно было отправиться спать на свой чердак в Усть-Таймыре.

Однажды мы вынуждены были заночевать на полярной станции Стерлегово. Там в это время происходила смена зимовщиков, и потому теснота была невозможная. Нам отвели крошечную комнатку, в которую с трудом были втиснуты две койки, маленький столик и платяной шкаф. Разместиться впятером в этой комнатке оказалось делом довольно сложным. Не помню уж, кому пришла в голову мысль использовать в качестве дополнительного ложа шкаф. На шкаф водрузили деревянный щит, а для большей безопасности прихватили его к шкафу несколькими гвоздями. На щит постелили пару собачьих шкур, и получилось ложе, почти не уступающее по своей комфортабельности стоящим внизу койкам.

Двое улеглись на койках, двое разместились на тесном полу, а место на шкафу досталось мне. Наверху, под потолком, было жарко и душно. Небольшой и пустой, а потому и легкий, шкаф качался при малейшем движении, угрожая обрушиться на головы спящих летчиков. Щит был мне короток. Ноги свисали. Собачьи шкуры издавали неприятный запах. И тем не менее, каким наслаждением было растянуться, наконец, на этом ложе! Как крепко мне на нем спалось после тяжелого трудового дня!

## Шторм

Как-то после длительного полета мы, как всегда, залетели на мыс Стерлегова для заправки машины. Усталые и измученные, карабкались по грязному и скользкому обрыву, катали тяжелые бочки. Шел дождь и дул неприятный холодный ветер.

Когда все уже было закончено, а мы, очистив по возможности одежду от грязи, зашли в воду отмыть сапоги и ополоснуть руки, на краю обрыва появился человек. Он что-то кричал и размахивал бумажкой. Оказалось, что это прибежал с полярной станции радист. Срочная телеграмма.

В телеграмме Махоткину предлагалось не-

медленно вылететь в море Лаптевых, к восточному побережью Таймырского полуострова, на поиски одного из гидрографических ботов. Одновременно Махоткину предлагалось провести ледовую разведку в районе моря, у восточного побережья Таймырского полуострова, вплоть до Хатангского залива. Так как бензина на обратный путь явно не хватало, то заправку нам предложили сделать в бухте Нордвик, откуда мы должны были вернуться в Усть-Таймыр.

Махоткин развернул карту и начал прикидывать циркулем-измерителем расстояние.

— Этот полет займет часов девять-десять, а может и больше,— произнес он, наконец.— Кто знает, сколько времени потребуют поиски этого заблудившегося ботика. Нужно быть ко всему готовым. А это значит, что нам нужно долить еще...— подсчитывал он в уме,— долить еще... минимум две бочки бензина. Значит, нужно будет лишнее с машины снять.

И вот, вместо того, чтобы лететь домой, мы, промокшие и усталые, штурмовали обрыв, катали уязвющие в липкой грязи тяжелые бочки, таскали ящики с запчастями.

Разыскать ботик удалось без всякого труда. К тому времени, когда мы к нему подошли, льды вокруг ботика уже разредились, и он полным ходом шел разводьями к берегу. Нашей помощи уже не требовалось. На малой высоте, над ботиком Махоткин сделал небольшой круг. Весь экипаж, высыпавший на палубу, приветствуя нас, махал руками. Убедившись, что все в порядке, мы ушли продолжать начатую разведку.

Погода на большей части нашего маршрута была хорошей. Временами даже светило солнце. В общем полет прошел сравнительно легко и просто. К закату солнца мы опустились в бухте Нордвик. Я чувствовал себя настолько усталым, что был не в состоянии поближе познакомиться с этой новой для меня бухтой.

После того, как машина была заправлена, отведена далеко от берега и надежно поставлена на двух якорях, мы получили возможность заняться ужином и ночлегом. В то время на берегу не было еще никаких постоянных построек, кроме палаточного городка, принадлежащего большой изыскательской экспедиции.

Среди одинаковых палаток выделялась одна, особенно большая, над которой торчала дымящая труба. Из этой палатки шел настолько заманчивый запах, что мы, не задумываясь, направились прямо туда. Встретили нас радушно, накормили вкусно и обильно. Но как устроиться с ночлегом?

Начальник экспедиции, оказавшийся старым знакомым Махоткина, ничем, кроме парусиновой палатки с мокрым земляным полом, не располагал.

Вдруг у Махоткина блеснула идея.

— Подождите, друзья, ведь на рейде стоит «Сталинград». Наверное, он привез сюда пассажиров, они уже сошли на берег, и теперь на пароходе есть свободные каюты. Сейчас мы все это выясним.

Он исчез и вскоре вернулся с мужчиной в замасленной ватной куртке.

— Ну, все в порядке. Катер нам дали. Сейчас он нас туда подбросит. Не может быть, чтобы такой капитан, как Мелехов, отказал бы нам в гостеприимстве.

Через несколько минут легкий катеришко мчал нас по темной бухте к еле видневшимся огонькам «Сталинграда». Пароход стоял в нескольких милях от берега. Катеришко, звонко треща мотором, лихо прыгал по волнам, в лицо нам дул ветер, обдавало брызгами, и все же я не мог преодолеть дремоты. Все мысли и желания концентрировались на одном: лечь и заснуть.

Я очнулся в тот момент, когда мы уже подходили к черному борту «Сталинграда». Вахтенный, стоявший под яркой лампой, с любопытством рассматривал неожиданно вынырнувший из темноты наш маленький катер. Мы подошли прямо к спущенному парадному трапу.

Махоткин шел впереди, шагая по трапу сразу через две ступеньки. Я замыкал шествие.

— Афанасий Павлович у себя?— спросил Махоткин у вахтенного, поднявшись на палубу.

Получив утвердительный ответ, он пошел в каюту к капитану, а мы остались ожидать его на палубе. Не прошло и двух минут, как к нам подошел вахтенный помощник.

— Пойдемте со мной. Я покажу вам вашу каюту.

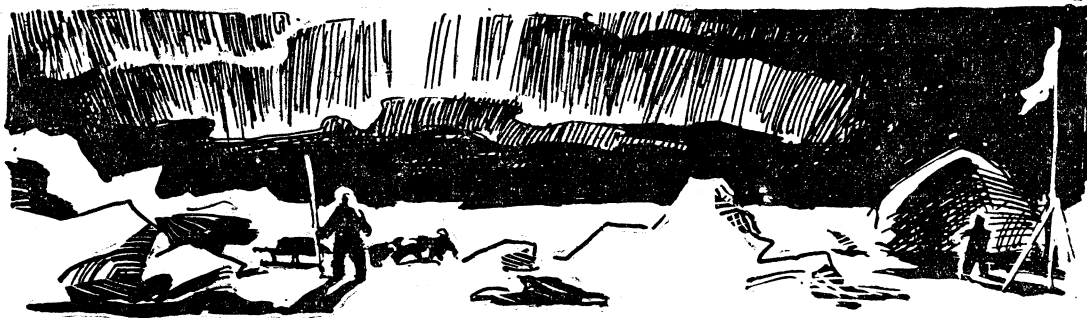
Он привел нас в опрятную шестиместную пассажирскую каюту.

— Сейчас вам здесь постелят чистое белье. А пока, если хотите, можете помыться в бане. Там как раз свободно. Никого нет.

Несмотря на усталость, мы не удержались от искушения. Ведь в Усть-Таймыре тогда еще бани не было. Но и после бани нам не суждено было сразу уснуть. Едва мы приготовились укладываться, как в дверь постучали. Это был бутчик.

— Капитан приглашает всех в кают-компанию.

Как мы ни были сыты и как нам ни хотелось



спать, отказываться от приглашения капитана было по меньшей мере невежливо.

Однако, придя в кают-компанию, я не пожалел о том, что не удалось сразу же лечь спать. Вопреки моим опасениям, прием, устроенный в нашу честь капитаном, совсем не был похож на обычно организуемые на судах встречи, очень часто выливающиеся в простую дружескую выпивку. На этот раз на столе стояла всего одна бутылка хорошего вина, и отнюдь не она была в центре внимания. Вниманием всего общества владел сам хозяин Афанасий Павлович Мелехов. Тактичный, спокойный, седеющий человек, он невольно вызывал чувство уважения и симпатии. К тому же Афанасий Павлович был еще и замечательным рассказчиком. А рассказать ему было о чем: недаром он был капитаном дальнего плавания и исколесил почти весь земной шар.

Позже я встречался с ним ежегодно, когда он был уже начальником морских операций восточного района Арктики. На этом посту Афанасий Павлович оставался вплоть до трагической гибели на потопленном немцами пароходе в 1943 году.

Но вот мы, наконец, улеглись, и я заснул сразу же, едва коснувшись головой подушки. Когда открыл глаза, в каюте было уже почти совсем светло. А мне казалось, что я только-только уснул. В дверь энергично стучали. Не дождавись ответа, в каюту стремительно вошел вахтенный помощник.

— Кто здесь Махоткин? — спросил он, окидывая взглядом спящих.

Я показал.

— Товарищ Махоткин! Товарищ Махоткин! — вахтенный тряс за плечо Махоткина. Тот проснулся. — Ветер засвежел, начинает штормить. Ветром сорвало баржу, сейчас ее несет прямо на ваш самолет.

Сон мгновенно слетел с Махоткина. Через секунду не только он, но и все мы торопливо одевались. Летчики тревожно поглядывали в открытый иллюминатор. А там ревели и бушевало море. Сквозь пелену дождя и водяных брызг смутно виднелся вдалеке темный силуэт баржи, едва заметно перемещавшийся в кругу иллюминатора.

— Готовьте нам быстро шлюпку и постарайтесь поскорее обеспечить еще и катер. Если ваш почему-либо нельзя — вызывайте срочно с берега. Посылайте его нам вдогонку, — давал распоряжения Махоткин вахтенному помощнику, одновременно натягивая сапоги.

— Есть! — и вахтенный помощник исчез за

дверьми. Увидев, что я одеваюсь вместе со всеми, Махоткин сказал:

— Вам, собственно, сейчас не к чему мокнуть вместе с нами. Мы только перетянем самолет в другое, более безопасное место и вернемся сюда.

Честно говоря, я возражал не очень энергично. Уж больно хотелось спать. Да и перспектива мокнуть на холодном ветру, в мучущейся на волнах шлюпке не казалась заманчивой.

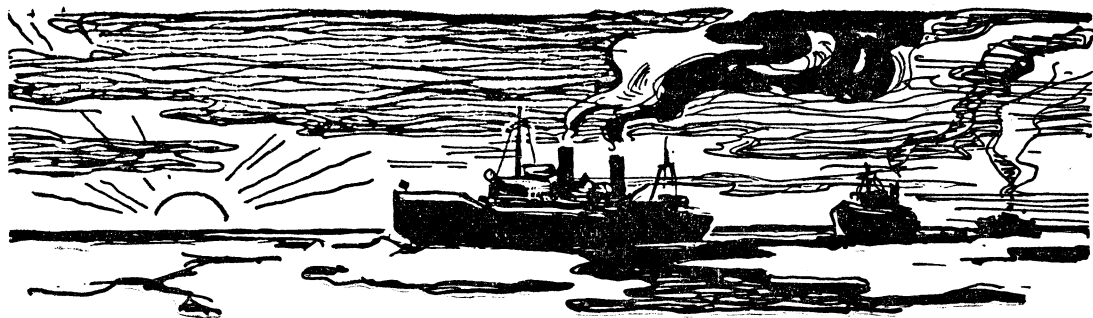
Однако, когда несколько минут спустя я в иллюминатор увидел, как мои товарищи, уже мокрые до нитки, обдаваемые холодными брызгами, со всей силой налегали на весла, выгребая против ветра на маленькой, буквально кувыркающейся шлюпочке, я почувствовал угрызения совести. Но сделанного не воротишь. Я долго наблюдал за постепенно удалявшейся шлюпкой, героически борющейся с волнами и иногда совершенно исчезающей между гребнями. Но вот к ней подбежал большой, но тоже как щепка нырявший в волнах катер. С катера бросили конец, на шлюпке его поймали, и скоро катер с шлюпкой на буксире скрылись из виду.

## Возвращение

Я имел уже достаточный опыт для того, чтобы понять, насколько трудно приходилось в этот момент моим товарищам. Уже одна пересадка из мучущейся на волнах шлюпки в качающийся и рыскающий самолет представляла сложнейшую задачу. Ведь достаточно шлюпке хотя бы слегка прикоснуться к самолету, и его тонкий фюзеляж будет пробит. А каково в такой шторм выбирать вручную якоря, когда якорный канат натянут, как струна, и нос самолета непрерывно захлестывает ледяной водой? Удастся ли еще им быстро запустить мотор?

Когда, наконец, я услышал рев мотора, у меня отлегло от сердца. Значит, все у них идет более или менее благополучно. Примерно около часа рев моторов доносился из самых различных концов бухты. Видимо, они тщетно искали спокойного места. Внезапно раздался знакомый, быстро нарастающий гул моторов. В хаосе облаков, дождя и морских брызг промелькнул силуэт самолета. Вскоре все стихло. Подождав еще немного, я вновь лег спать.

Проснулся я только поздно вечером, уже перед самым закатом солнца. Проснулся от рева



моторов, пронесшегося над пароходом самолета.

Глянул в иллюминатор. Ветер стих. Море успокоилось.

Значит, товарищи мои улетали куда-то далеко прятаться от шторма и теперь вернулись обратно.

Я оделся и вышел на палубу. Уже совсем стемнело, когда к трапу подошел катер, из которого вылезли люди в кожаных шлемах. Оказалось, однако, что это не те, кого ждал я: на «Сталинград» прибыл экипаж самолета, базировавшегося в свое время вместе с нами в Усть-Таймыре. Залетев в Нордвик, этот экипаж, подобно нашему, решил искать гостеприимства на «Сталинграде». Их так же, как и нас, встретили очень тепло. Им тоже отвели каюту, вымыли в бане и угостили ужином в кают-компании.

Пужинав, я вновь уснул мертвым сном и проспал до самого утра, пока меня не разбудил стук в дверь. Приглашали к завтраку. Итак, я проспал тридцать с лишним часов!

Вскоре, неожиданно для меня, на пароходе появился и Махоткин со своей гвардией. Оказывается, я так крепко спал, что не слышал гула их самолета.

Завтракать пошли все вместе. За завтраком радист вручил мне срочную телеграмму из Хатанги от Махоткина. В телеграмме Махоткин сообщал, что прятаться от шторма они улетели в

Хатангу и что, как только стихнет, они вернутся за мной. Мы не удержались и позлословили относительно чрезмерной четкости и быстроты в работе наших радиостанций.

Если первый мой полет на ледовую разведку не мог дать всех результатов, ради которых меня сюда послали, то в дальнейшем с помощью Махоткина я все же смог составлять более или менее удовлетворительные ледовые карты. Чтобы добиться точности координат, пилот сажал меня рядом с собой. Составленные совместно донесения приносили свою пользу.

...Давно уже над ледовыми просторами арктических морей не летает тихходная старушка «Дарья». Ее сменили современные, более быстроходные летающие лодки, с огромным радиусом действия, способные пробыть в воздухе до тридцати часов. Кабины этих самолетов закрыты почти герметически. При взлете экипаж уже не обливает водой, как на «Дарье», и в воздухе летчиков больше не терзает сумасшедший ветер. «Слепой» полет на этих машинах не страшен. Летчики на таких самолетах практически могут летать почти в любую погоду, ибо машины оснащены новейшим оборудованием, таким, как антиобледенители и радиолокаторы. С каждым годом все шире используются для ледовой разведки и сухопутные самолеты. Увеличивается в Арктике и сеть аэродромов. Но это все сейчас. А начиналась ледовая разведка с «Дарьи»...



# ПИСЬМА БОЛЬШОМУ ДРУГУ

В феврале исполнилось сто лет со дня рождения Надежды Константиновны Крупской, жены и соратника Владимира Ильича Ленина.

К Надежде Константиновне за помощью и советом обращались люди всех возрастов и профессий. Ей писали из разных уголков Советского Союза, делились своими успехами, радостями и неудачами. И ни одно письмо, ни одну просьбу

Н. К. Крупская не оставляла без внимания, без доброго совета, всегда оказывала людям помощь.

Мы публикуем некоторые из писем, полученных Надеждой Константиновной с Урала в 1925—1929 годах и хранящихся ныне в Центральном государственном архиве РСФСР. Их подготовил к печати учитель Б. Кокоулин.

*Дорогая Надежда Константиновна!*

*В день открытия Уральской областной опорно-инструкторской школы по ликвидации неграмотности и малограмотности торжественное заседание представителей областных организаций, учащихся (учителей) школ и ликпунктов г. Свердловска шлет вам, руководительнице коммунистического просвещения в республике Советов, свой горячий привет с пожеланием успешного проведения в жизнь заветов В. И. Ленина...*

*Со своей стороны областная опорно-инструкторская школа примет все меры к улучшению организационно-методической работы не только в самой школе, но и во всех ликпунктах уральской области, чем ускорим осуществление лозунга Владимира Ильича — к 10-й годовщине Октябрьской революции в Советской России ни одного неграмотного...*

*15 февраля 1925 г.*

*Здравствуйте, Надежда Константиновна Крупская!*

*Извиняюсь за то, что так выражаюсь резко: здравствуйте — и все! Я парень крестьянский и выражаюсь по-крестьянски. Комсомолец с 1919 г. Пока я хочу сообщить кое-что о своем материальном положении: я состояния бедного, нет у меня ничего, кроме того, что на себе... Мать есть, но и она находится в таком положении... Наступает зима, а у нее нет ничего на себе: ни шубы, ни ботинок... Хотя вы бы дали нам какой-нибудь поддержки, а то мы совсем погибаем. Работаем, работаем и только на еду, а на себя нет...*

*Письмо из Шадринского уезда, села Песчаного, от 4 октября 1925 г.*

*Шлю товарищеский привет наставнице и руководительнице нас, работниц и крестьянок, Надежде Константиновне Крупской.*

*Дорогая, милая Надежда Константиновна, я извиняюсь перед вами, что я деревенская женщина, мужичка от сохи и от бороны, осмелилась вам написать, но я думаю: вы мне простите...*

*Я хочу вам описать и объяснить, что у меня есть на душе наболевшее... Я опишу вам свою географию (имеется в виду биография — ред.): я крестьянка, бедная конечно. Работаю среди женщин-крестьянок, кандидат РКП(б), в 1923 г. переведена в члены РКП(б). В 1924 г. я подала заявление в районную партиячку, чтобы меня назначили на курсы совпартшколы, но меня упростили еще год поработать и оставили кандидатом совпартшколы, но я политически слаба... помогите...*

*Письмо от 10 апреля 1925 г. от гражданки Уральской области, Шадринского округа, Долматовского района Романовой Тансьи Кузмовны.*

*Настоящим прошу не отказать в малой просьбе культработников севера: нельзя ли просить о выделении маленькой ленты для нашей избы-читальни, так как Кумарьинская изба-читальня находится в самом углу тьмы, где только что начинает пробовать дорогу луч культуры.*

*В 1905 г. сюда стали переселять из центральных губерний Сибири. Люди, заброшенные в этот глухой лес, владели и влачат жалкое существование. Кругом расположены болота...*

*К книге есть большая тяга, но жалко, что наша изба-читальня бедна, чтобы можно было выписать книг, от районной библиотеки 50 верст... Обратите внимание на задачу просвещения в таком глухом углу и уделите хотя небольшую частицу литературы и для нашей избы-читальни...*

Письмо от 3 марта 1927 г. Кумарьинской избы-читальни, Благовещенского района, Ирбитского округа, Главполитпросвету.

*Многоуважаемая Надежда Константиновна!*

*Посланную вами литературу по адресу Кумарьинской избы-читальни Ирбитского округа получили 9 сентября 1927 г., за что шлем глубочайшую благодарность...*

*Многоуважаемая Надежда Константиновна!*

*Будьте добры, пришлите нам книг Ленина, программу и др. книги, которые касаются нас, деревенских юношей. Мы заинтересовались культпросветом, а у нас на селе никакого просвета для нас нет. И вы, Надежда Константиновна, будьте добры: нам пошлите хоть штук пять...*

Письмо рабочих Уси-Катаевского завода, Златоустовского округа от 21 октября 1927 г.

*Славная и хорошая бабушка Крупская!*

*Мы, школьники, слышали, что ты добрая, и решили тебе написать письмо. Пожалуйста, не сердитесь на нас и пришлите нам в школу книги для чтения, да пришлите интересные. Мы скажем тебе спасибо, и часто будем вспоминать тебя.*

*Школа у нас бедная, читать книжечек совсем нет.*

*Подписи: Прохоров Коля, Пилев Ваня, Плашкин Мирон и др. Всего 9 подписей. Ученики 1 и 2 группы школы поселка Шала, Староуткинского района Свердловского округа Уральской области.*

27 октября 1927 г.

*...Деревня наша в глуши, кооперации пока нет, и вопросвет на нашу просьбу о помощи ответил: «Волполитпросвет гол, как сокол!». Желающих обучаться в ликпункте зарегистрировано 44 человека, в том числе 18 женщин. Инициатива хорошая и жалко ее заглушить. Просьба сводится к материальной поддержке...*

Письмо от 19 ноября 1927 г. Белоголовцева Л. С. Урало-Резанской железной дороги, станция Вертуновская, д. Сосновка.

*Шлем пламенный привет в день 60-летия со дня рождения. Желаем здоровья для дальнейшего неослабного руководства культурной революцией.*

Телеграмма педагогов и учащихся Свердловского педтехникума от 27 февраля 1929 г.



# НА ПРИЗ НАШЕГО ЖУРНАЛА

## Безымянный обелиск

На площади Революции в городе Куртамыше Курганской области стоял обелиск. Ни фамилий на нем, ни имен. Шли годы, сменялись поколения. Люди как будто не интересовались, кто же похоронен в центре их города.

Но вот за дело взялись следопыты Дома пионеров. Они разыскали ветеранов гражданской войны, кто вместе с погибшими героями отстаивал Советскую власть в Зауралье. К ним и обратились ребята. И тогда стали известны имена комиссара полка Сергея Ивановича Краснослободцева, командиров Красной Армии Мамина и Тяпкина, комсомольца Коли Дмитриева.

Следопыты решили рассказать землякам о подвиге Коли Дмитриева. Они нашли его мать Глафиру Николаевну, сестер Галину и Ольгу, комсомольца 1919 года Ивана Васильевича Клевакина, записали их воспоминания.

А летом школьники вышли в поход. Маршрут лежал через Куртамышский, Целинный и Притобольский районы Курганской области. От села Звериноголовское пунктирная линия на карте расходилась по трем направлениям: Нижняя Алабуга, Верхняя Алабуга и Отряд Алабуга. Где погиб Коля? Одни указывали на Верхнюю Алабугу, другие — на Нижнюю Алабугу, а третьи уверяли, что это произошло в Отряде Алабуга. Даже Глафира Николаевна не могла точно назвать место. Вот почему надо было побывать в этих трех селах.

Каждый походный день приносил что-то новое. И перед ребятами раскрывался образ комсомольца, бесконечно преданного делу революции.

## Разрыв

Николай, сын озернинского священника Дмитриева, вступил в комсомольскую ячейку. Первой об этом догадалась мать Глафира Николаевна: паренек часто отлучался из дома, приходил поздно, шептался о чем-то с однополками. Догадалась и встревожилась.

— Что же будет теперь, сынок? Банды кругом рыщут, Землин окаанный с головорезами гуляет. Коммунистам да комсомольцам от него первая пуля.

— Что же мне, мама, на печи отсиживать-ся? — сын ласково обнял ее за плечи. — Я в комсомол и вступил, чтобы землю нашу от этой нечисти освободить.

— Как знаешь, Коля, — шептала мать.

Скоро Николая избрали председателем комсомольской ячейки. Почти каждое воскресенье на самодельной сцене у сельского Совета выступали деревенские ребята. В стихах и частушках они зло высмеивали кулаков, которые прятали хлеб, звали односельчан не давать врагам Советской власти спуску. Комсомольцы учили неграмотных мужиков читать и писать, помогали продовольственному отряду.

Когда Петр Дмитриев узнал о делах сына, в доме поднялась буря.

— От веры христовой отрекся! — кричал отец. — Сатане проданся!

— А ты-то в бога веруешь? — спокойно спросил Николай.

— Как же не верить во всевышнего, — проговорил Петр Васильевич. — Проповедями всю семью кормлю. Живем в достатке. Смирнем да трудом от дьячка до священника дошел.

— А я не хочу проповедями кормиться. У меня другая цель в жизни, — твердо заявил Николай. — Я, как братья Александр и Владимир, буду с оружием в руках защищать Советскую власть.

— Анафема! Проклинаю тебя, отлучаю от православной церкви! — взревел Петр Васильевич, услышав из уст шестнадцатилетнего меньшего сына имена старших. Они давно порвали с отцом и ушли в Красную Армию.

## В лапах бандитов

Январь 1921 года. Председателя Озернинской комсомольской ячейки Колю Дмитриева вызвали в станицу Звериноголовскую на волостное совещание комсомольского актива. Вопросы решались важные: борьба с бандитизмом, организация новых молодежных ячеек в деревнях. Николай все записывал в крохотную самодельную записную книжку. После актива получил задание: поехать в Отряд Алабугу и сплотить там ребят.

Единственного на селе комсомольца Ваню Копылова Николай нашел сразу. Тут же договорился, когда и где проведут молодежное собрание.

Комната битком набита парнями и девушками. Мигает огонек коптилки. Коля рассказывает о Коммунистическом союзе молодежи, о его задачах, о партии коммунистов, о ее вожде Владимире Ильиче Ленине.

А тем временем кулаки неслышно уведи Колыного коня. Когда началась запись в комсомольскую ячейку, за окном послышалась стрельба. В село влетела банда Землина. Дом окружили вооруженные головорезы.



Колю схватили и привели в здание исполкома сельского Совета. Там за председательским столом баринном сидел главарь банды, озернинский казак Землин. Крест-накрест перепоюсан пулевыми лентами, на одном боку — маузер в деревянной кобуре, на другом — гранаты. На столе — плеть с прикрепленной на конце гайкой.

— Обыскать шенка! — рявкнул он. С плеч Коли сорвали полшубок, начали шарить по карманам.

— Ба, коммунист! — закричал один из бандитов, рассматривая комсомольский билет.

— А ну, дай сюда! — приказал Землин. — Николай Петрович Дмитриев. Выходит, отца Петра, озернинского священника сын! Забавно! Поповский сын — комсомолец. К большевикам перекинулся, христовой вере изменил? Забавно, забавно!

А что, если заманить его в банду, за ним — другие потянутся: видать, парень большой вес имеет у своих. И вот уже изменил тон Землин, говорит спокойно, вкрадчиво:

— Я хорошо знаю твоего папашу, правильный человек. Думаю, что и ты вступил в комсомол по недоразумению, по своей несмышлености...

— Нет, по убеждению! — прервал его Коля.

— Не торопись, ишь пряткий какой. Зачем раньше батьки в пекло лезти, — пытался придать разговору шуточный тон бандит. — Иди с нами, ждуть тебя слава, почет, беспечная жизнь. Нашу армию всюду народ встречает хлебом-солью...

— Сброд бандитов вы, а не армия! — снова прервал его паренек.

— Слушай, молокосос, кто тебе поверит, что сын попа бескорыстно вступил в комсомол?! Всем ясно, что ты примазался к большевикам, потому что у них была власть, — продолжал Землин. — Теперь власть наша, мы сила, а Советам — петля!

— Не было и не будет у вас силы, победят Советы! — крикнул Николай.

Нагайки засвищали в воздухе, обжигая лицо и тело.

— Хватит! — командовал Землин. — Ну, теперь что скажешь?

Коля молчал. Землин подбежал к Николаю и, размахивая над его головой огромными кулаками, заорал:

— Коммунию захотел! Ишь чего задумал: мой дом, мою землю, мое добро в Озерном себе прибрать. Не бывать этому, понял? А вот тебе мы сейчас покажем твое-мое. Раздеть его, пусть голым по снегу потанцует.

## Дорога бессмертия

Ночь на четырнадцатое января 1921 года. Высоко в небе стоят холодные звезды. Метет по-земка. По дороге в кошевке, одетый в тулуп и мохнатую шапку, едет Землин. За ним раздетый донага идет Коля Дмитриев. На его шее веревка, концы которой привязаны к кошеве. За Колей — верховые бандиты. Свист плетей перемежается со свистом ветра.



Памятник героям в Куртамыше

Позади осталось девять верст. На самой границе с Казахстаном, у небольшого перелеска оставались. Это место в народе называют Красным столбом. Некогда здесь было арка, одной опорой которой служил столб, выложенный из красного кирпича.

— Ну что, уразумел? — спросил бандит. — Отрекаешься от комсомола? Вступаешь в мою армию?

— Нет! Нет! — Это были последние слова Коли.

Удар приклада сбил его с ног, шашкой рассекли голову. Комсомолец упал. Раздался выстрел...

Через месяц тело Николая Дмитриева привезли в уездный город Куртамыш и 19 февраля похоронили в братской могиле на площади Революции.

...27 июня 1963 года на месте гибели шестнадцатилетнего комсомольца куртамышские следопыты установили временный обелиск с надписью:

«Здесь в ночь на 14 января 1921 года белобандитами убит комсомолец Коля Дмитриев. Экспедиционный отряд № 64019. Куртамышский Дом пионеров и школьников. Июль 1963 г.»

При открытии обелиска ребята обратились с призывом к молодежи и пионерам Притобольского района создать памятник комсомольцу Коле Дмитриеву.

В 1968 году на месте гибели героя поднялся величественный памятник, воздвигнутый руками молодежи.

П. КОЧЕГИН



# ЗЕМЛЕКОП

Борис РАЕВСКИЙ

*«И. В. Бабушкин — один из тех рабочих-передовиков, которые за 10 лет до революции начали создавать рабочую социал-демократическую партию...» — писал Владимир Ильич Ленин.*

Активнейший член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» И. В. Бабушкин после ареста В. И. Ленина, в декабре 1895 года, составил и распространил по заводам Петербурга листовку, в которой выдвинул лозунги борьбы за социализм. А через месяц сам был арестован и сослан на три года в Екатеринослав. В декабре 1897 года здесь под руководством Бабушкина организуется екатеринославский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», который затем был переименован в Екатеринославский комитет РСДРП. В 1899 году в этом городе было уже 25 рабочих кружков, выпускались прокламации, была подготовлена к изданию газета «Южный рабочий».

**Б**абушкин вставал в пять утра и до самого вечера бродил по Екатеринославу, искал работу. Слонялся по зеленым набережным Днепра, по дымной, в колдобинах и ухабах, Чечелевке, по нищим прокопченным заводским окраинам.

Работы не было.

С Брянского завода Бабушкина уволили еще месяц назад. Мастер вдруг пристал:

— Пашпорт дэ?

Паспорта у Бабушкина не было. Местная полиция выдала ему, как поднадзорному, высланному из столицы, лишь временный «вид на жительство».

— Мэни пашпорт клады, а нэ цю писульку! — заорал мастер. — Тай взагали...\*

Бабушкин понимал, что главное — в этом «взагали». Надоел мастеру новый настырный слесарь. Вишь, из Питера вытурили, а он и тут никак не угомонится. Всюду суется: это ему не так, да то не эдак. То штраф, мол, незаконный, то грубить не смей.

Хотел Бабушкин на Трубный устроить-

\* Вообще (укр.).

ся, а там тоже — «пашпорт». Пошел в полицию: выпишите паспорт. Нет, шалишь, поднадзорному только временный «вид» положен. «Вот переплет!» — думал Бабушкин.

— А что, если тебе, Иван Васильевич, и вовсе не работать? — предложили ему товарищи.

— Как так? — удивился и даже растерялся Бабушкин.

— А так! Ежели день-деньской у тисков, когда же собрания организовывать, да кружки вести, да листовки печатать? Хорошо б нам иметь в городе хоть одного такого вот, «неработающего». Чтоб целиком всего себя — для общества...

— Оно неплохо, конечно, — сказал Бабушкин.

Так и получилось, что Бабушкин впервые в жизни стал жить, как живут «нелегалы», профессиональные революционеры.

Городской комитет партии обещал ему восемь рублей в месяц.

— Прохарчишься как-нибудь?

— Постараюсь...

Очень это мало — восемь рублей. Бабушкин на заводе по тридцать и даже по сорок в месяц выгонял. А тут — восемь... На все, про все — восемь...

Но Бабушкин знал, как тоща партийная касса. Восемь — так восемь... Одно только осложняло дело. Если б он был, как прежде, один. Одному и краюха хлеба с солью — преотличный обед. Но теперь у него жена. Пашенька. Прасковья Никитична.

Пройдет недели две, и в доме — шапом покати. Хозяин комнаты косится — уже за два месяца задолжали.

«Ничего, — решил Бабушкин. — А руки у меня на что? В свободные деньки буду подрабатывать».

Занятия кружков, собрания и встречи проходили обычно по вечерам. Днем рабочие заняты. Значит, у него утренние часы свободны.

«Вот и чудесно! — думал Бабушкин. — Не барин! Могу пораньше утречком встать и часов до трех-четырех что-нибудь подзаработать».

Подрядился он разгружать баржу с арбузами. Три дня кидал зеленые полосатые шары, стоя в артельной цепочке.

Плата — сорок копеек в день.

Когда кончились арбузы, нанялся Бабушкин к старухе-чиновнице поленницу дров переколоть. С утра дотемна махал

топором, а вредная старуха вынесла всего двадцать копеек.

Однажды прогуливался он по берегу Днепра и увидел, как возле самой воды рабочие рыли котлован.

— Что строите?

Один из землекопов разогнул спину: — Склад якийсь. — Отер рукавом пот со лба, достал кисет, люльку, закурил.

— А рабочие не нужны? — спросил Бабушкин.

— Кажись, треба. Ось старшой, — землекоп указал на длинного мужика с рыжеватой, клинышком, бородкой. — У старшого и спытай.

Старшой неторопливо оглядел Бабушкина с головы до ног, потом так же неспеша провел взглядом обратно — с ног до макушки.

«Как мерку снял!» — мелькнуло у Бабушкина.

— Бач, парубок, — сказал старшой. — У нас — артиль. Що заробим — на всех поровну. Зрозумив?

— Понял.

— А значит копать трэба як слид. А для того звичка потрибна. И здоровы руки-ноги.

У старшого были маленькие хитрющие глаза и чуть приоткрытый рот, скривленный влево. Словно он все время усмехался.

Он снова оглядел Бабушкина и звучно высморкался. Видимо, Бабушкин не подходил под категорию «здоровы руки-ноги». Невысок. И в плечах неширок. Да к тому ж по обличью — вроде бы образованный. И в шляпе. А вот — в копали просится...

— Ну, а лопату бачив? — спросил старшой.

— Видал, — сказал Бабушкин.

Старшой снова с недоверием оглядел щуплого новичка, крикнул, но ему, видимо, и в самом деле нужны были люди, и к тому же хитрый старшой, наверно, сообразил, что прогнать новенького всегда можно. Чего ж не попробовать?!

— Ставай, — хмуро приказал он.

Бабушкин выбрал себе лопату — целая куча их громоздилась в сторонке — и спрыгнул в канаву.

— Эй! — усмехнулся старшой. — Ты, яснэ дило, майстэр. Та рукавыци — все ж не лышни!

И швырнул ему пару потертых рукавиц.

Бабушкин стал копать.

Украдкой поглядывал он на соседа и старался делать все, как тот. Под таким же углом вонзал лезвие, до блеска надраенное землей, и так же ногой вгонял его поглубже. И тем же широким плавным движением выбрасывал землю наверх.

Сосед орудовал лопатой вроде бы не спеша, и Бабушкин легко включился в этот ритм.

«Копать — оно, конечно, вольготней, чем арбузы грузить, — подумал Бабушкин. — Там ты в цепочке, ни на секунду не отвлекись. Чуть запнешься — сразу всех сбил. А тут, как-никак, сам себе хозяин».

Однако прошло всего с полчаса, и Бабушкин вдруг почувствовал — задыхается. Даже странно: копал будто бы неторопливо, а сердце уже стучит, как сумасшедшее. И, главное, нет воздуха. Нечем дышать. Будто замурован ты в душном, глухом, как могила, подполе.

«Вот номер!» — удивился Бабушкин.

Ему, рабочему человеку, с сорокадцати лет стоявшему у тисков, это было тройной обидно. «Неужто сдаю?»

Это он-то, который по двое суток не выходил из цеха?! А однажды, когда была «экстра», — не ложился спать три ночи подряд.

Бабушкин выпрямился, глубоко, всей грудью вобрал воздух. Выдохнул. И снова широко, до предела, раздул легкие. Так он делал по утрам в тюрьме. Дыхательные упражнения по Мюллеру.

«Ничего. Еще три минутки. И все наладится».

Но тут рядом он вдруг увидел старшого. Тот стоял наверху, на краю котлована, острая его борода торчала, как штык, нацеленный прямо в Бабушкина. А рот, как всегда, приоткрыт. И скривлен влево. Ухмыляется, что ли?

Иван Васильевич снова налег на лопату. Сердце гулко бухало, но он выкидывал наверх землю, лопату за лопатой.

«Только не торопись. Так... Размеренно... Раз... и два... и три...»

Старшой постоял, поглядел, опять высморгался, громко, будто выстрелил, и ушел. Бабушкин воткнул лопату. Стоя, прислушался к себе. Сердце билось часто, наверно, толчками, но все-таки не как прежде, — спокойнее.

Шевельнулась догадка: «Не ел нынче...»

Встал спозаранку. Паша еще спала. Выпил кислого молока из кринки и на цыпоч-

ках вышел из комнаты. Да, на пустой желудок не очень-то поковыряешь лопатой.

Прошло часа два. Опять подошел старшой. Долго стоял, прислонясь спиной к дереву, курил, хитренькие глазки свои не сводил с новичка.

У Бабушкина уже нещадно ломило руки, спина стала как деревянная. А пот — заливал глаза. Но Иван Васильевич старался не показывать виду. Да, хорошо бы так вот — стоять, привалившись усталой спиной к теплomu, ласковому стволу березки, стоять неподвижно, ни о чем не думая, расслабленно кинув руки.

Но Бабушкин копал. Копал и копал. И старался, чтоб старшой не заметил, как тяжело, с клетотом рвется дыхание из его горла, и как в лихорадочном ознобе дрожат руки.

«Неужто свалюсь? Именно сейчас... Когда подвернулась работенка. Нет, нет...»

И он снова копал. Из последних сил. И чувствовал: вот сейчас — каюк. Вот сейчас...

Он дышал рывками и словно давился этими короткими глотками воздуха. А сердце било прямо в ребра, тяжело, гулко, будто какой-то великан сидит там внутри и остервенело дубасит кулаком по грудной клетке.

И вдруг... Вдруг стало вроде бы полегче. Бабушкин сперва даже не поверил... Нет, и впрямь, словно бы спина — не такая каменная, и руки — не так дрожат. И дышится ровней...

А вскоре старшой крикнул:

— А ну, орлы! Обид!

Бабушкин еще нашел в себе силы: сам, без помощи соседа, который протягивал ему руку сверху, вылез из котлована.

Все землекопы — вся артель, девять человек — сидели и лежали на берегу. А земля была такая мягкая, прогретая осенним солнцем, такая душистая. И с Днепра веяло бодрящим легким ветерком...

Вскоре из ближайшего трактира притащили котел с варевом, и землекопы, неторопливо прошагав к реке и также не спеша ополоснув руки, шеи, лица, — стали хлебать густые наваристые щи. Всем досталось по большому куску мяса. А потом трактирный мальчик приволок в мешке три огромных арбуза.

После такого обеда Бабушкин почувствовал себя снова здоровым и сильным. Одно только плохо: очень хотелось спать,

Но оказалось, спать хотелось всем. Землекопы улеглись тут же, прямо на берегу, подложив под голову пиджаки.

Старшой поднял артель через час. И опять Бабушкин копал. Теперь он чувствовал себя уверенней. Да и поел и отдохнул на славу.

Но все-таки вскоре ноги опять отяжелели, а плечи стало так ломить — ну, хоть бросай лопату. Бабушкин копал и думал о том, как обрадуется Паша, когда принесет он вечером деньги. И как засветятся изнутри, из глубины, ее большие серые глаза.

Старшой теперь часто подходил к тому месту, где копал Бабушкин. Видимо решал: брат новичка напостоянно в артель или нет?

«Как пробу сдаю», — подумал Бабушкин.

Прошел час, другой, и опять стало немоготу.

Ну, вот прямо сейчас свалишься!

«Ты это брось», — хмуро внушал себе Бабушкин. — Ишь, разнюнился...»

Старшой крикнул:

— Шабаш!

Бабушкин вылез из котлована. Его шатало, как пьяного.

Привалившись к той теплой, ласковой березке, у которой раньше стоял старшой, Бабушкин ждал, когда землекопы разбредутся по домам.

Тогда он ляжет вот тут, у этой березки, и будет долго-долго отдыхать... Впрочем, не очень долго. Уже шесть часов, а в семь назначена встреча с двумя крановщиками с Трубногo. А в девять — кружок в депо.

И все-таки час, целый час, длинный,

как этот день, будет он лежать вот здесь, у березки...

Землекопы расходились медленно. А старшой, казалось, вовсе не собирался уходить. Когда возле котлована остался только Бабушкин, старшой подошел к нему:

— Ну, и як?

Бабушкин пожал плечами. Что тут ответишь?

— Да... — протянул старшой. Хитрые глазки его прищурились. И рот был твердо сжат. — Чудной ты, дядю...

Он замолчал. Курил, глядя из-под наспуленных бровей на Бабушкина.

Бабушкин тоже молчал.

— Я ж нэ слипый, — сказал старшой. — Я ж усэ бачу... Да... А знаешь, тут у нас одын наймався. На вид — крипче за тэбэ. Покопав-покопав, а потом — хлоп! Носом в землю! И нэ дышэ. Та-а-к...

Он опять замолчал.

— А ты, брат, — впертый\*. Дывлюсь — сопишь, як той хряк. А лопатою все тыкаешь, тыкаешь. Целый дэнь. Як заправский копаль. Цэ як же? А?

Бабушкин пожал плечами.

Многое мог бы он сказать этому рыжебородому. Что мускулы — это еще не все. Что важнее характер, упорство, воля.

Так везде: и в драке, и в жизни, и даже когда орудуешь лопатой.

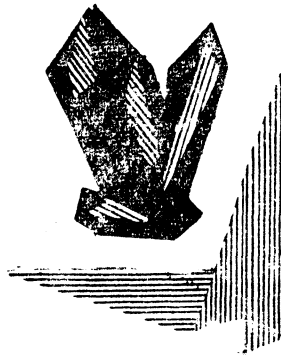
Но ничего этого Бабушкин старшому не сказал.

Он лишь спросил:

— Ну, как? Завтра-то... Приходить?

— Пыьхoдь, прыхoдь! Вбажoу вчeных! — и старшой хохотнул в ус.

\* Упрямый (укр.).



# РЕДКИЙ СНИМОК

**В** областной санаторной школе-интернате Серова в мае 1965 года был открыт музей имени 20-летия победы над фашистской Германией. За три года мы собрали более семисот экспонатов. Некоторые из них представляют особый интерес. Вот история одного.

В марте 1966 года в нашей школе побывал Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск в отставке Михаил Иванович Савельев. Он осмотрел музей, выступил перед ребятами и обещал прислать нам редкий снимок.

Славный боевой путь прошел Михаил Иванович. Он был солдатом царской армии, воевал за Советскую власть, сражался на многих фронтах Великой Отечественной войны. Уже в двадцать четыре года он командовал Вторым За-

амурским кавалерийским полком в 16-й имени Василия Киквидзе стрелковой дивизии, затем в 7-й Самарской кавалерийской дивизии Г. Д. Гая. Из этой дивизии в 1924 году его направили в Ленинград на Высшие курсы усовершенствования командного состава. Вместе с ним на эти же курсы приехали командир Армянского полка И. Х. Баграмян и командир 39-го Бузулукского кавалерийского полка Г. К. Жуков. В Ленинграде в одном отделении оказались А. И. Еременко, прибывший из 1-й Конной армии, и К. К. Рокоссовский из Сибири.

В 1925 году, незадолго до окончания курсов, слушатели отделения сфотографировались. Этот снимок и прислал нам Михаил Иванович Савельев.



На снимке мы легко узнаем прославленных маршалов К. К. Рокоссовского (пятый слева в третьем ряду) и Г. К. Жукова (в том же ряду крайний справа). Крайний справа сидит будущий маршал И. Х. Баграмян. Третьим справа сидит маршал А. И. Еременко. А сам М. И. Савельев стоит по правую руку от К. К. Рокоссовского.

Следопыты школы написали К. К. Рокоссовскому, А. И. Еременко и И. Х. Баграмяну, рассказали им о фотографии, о том, как разыскали ее. Маршалы ответили ребятам.

Так в нашем музее рядом с фотографией 1925 года появились фотографии маршалов Советского Союза и их письма.

# на Балчуге



## Повесть

Николай НИКОНОВ

Рисунки Н. Мооса

Я проснулся мгновенно — так всегда бывает в незнакомом месте. Оторопело сел, сбросив тяжелый мокрый брезент, оглянулся. Холодным запахом мокрой поляны окатило лицо. Едва брезжило. Где-то вдали, в вершинах деревьев, понемногу, слезно растекался рассвет. А на поляне и по всему лесу стояла редкая фиолетовая мгла, и глазам было непривычно, точно я смотрел сквозь приспущенные ресницы.

Моросил дождик — мелкий весенний бус. Он был липкий, холодно кропил с темного неба, и я снова потянул брезент на плечи, укрылся и так сидел в тяжелом раздумье, соображал, как теперь быть, сколько сейчас времени.

Светлело понемногу. Уже березы на краю поляны выступили вперед, замаячили в дожде дальние сосны, и прогалы меж ними стали бледно-сиреневыми. Мелькнул запоздалый вальдшнеп. Утро начиналось. В еловой кромке запел дрозд-белобровик. Тотчас откликнулся другой и третий. И вот уже скрипучее нисходящее ю-ю-ю-ю-и... слышалось из глубины леса, так согласно сливаясь с этой сырой и холодной ранью. Ломкой трелью прозвенела зарянка. Первый зяблик кричал разбуженно-звонко принь-фринь и начал петь, да все сбивался — знать, горлышко не прочистил. Заурчал где-то близко токующий тетерев. Он бормотал громко, торжественно. Вдруг смолк. И тогда устоялась недолгая тишина, замолчали и дрозды, как от пролетевшего ястреба, — лишь веско падали с веток капли, словно весь лес плакал и везде по нему слышались легкие, легкие шаги.

Я ночевал на этой поляне — ждал глухариного тока. Ток был известен мне давно, всегда были здесь глухари. Я обошел поляну, прислушивался так и сяк, но только дрозды продолжали скрипучий концерт.

Наверное, пора сказать, что я не охотник, а зоолог, точнее, орнитолог. На станцию Илим я приехал вчера, полдня шлепал грязными просел-

ками и лежневками, пока добрался сюда, и вот такая неудача. Не повидать ни одного глухаря! Ведь я собрался жить на токовище три дня, слушать, фотографировать, писать лесные голоса на маленький магнитофон «Репортер», с таким трудом добытый на этот случай.

«Из-за погоды, что ли, они молчат?» Я надел рюкзак, подвигал плечами, прилаживая его удобнее, стоял в раздумье.

Далеко впереди закричал филин. У-у, у-у, у-у, — всполшно повторял он с кукушечьей весенней настойчивостью и совсем не страшно (только в детских сказках ухают филины в любое время года). А я подумал: «Вот ведь весна, и филин поет...» Дикая песня, да что поделаешь, — таков голосок! Жутко, будто человек, схваченный за горло, стонет весной серая неясыть, брошенным котенком мяукает ушастая сова, лает в сумерках маленький сыч — и так до середины лета, а там замолкнут свиные крики. Мало сов теперь, а филина близ города нигде не сыщешь... И знать потому, с особым удовольствием, доступным, наверное, лишь орнитологу, слушал я глухое у-у, пока прикидывал, как быть. Искать ли другой ток? Возвращаться ли на станцию за двадцать верст, не солоно хлебавши?

В конце концов я надумал поискать дальний ток на Бараньих островах. Путь туда представлялся смутно. Я бывал там много лет назад, еще мальчиком, когда ходил вместе с отцом. Помнилось — надо обогнуть Щучье озеро, по гнилым зыбким жердям — есть ли они теперь, в водополье? — переползти Исток, болотную реку с коричневой торфяной водой, и выйти в лесистое Зюзево болото, где лежат вразбежку дремучие широкие пещеры и релки, по-местному острова и мысы: Бараньи, Глухариные, Малиновые... Двадцать лет назад там была нехоженная чаща и глушь. Все сплелось в болотистом непроходимом лесу, одичало, заросло травой и сосняками. Узенькие тропы, протоптанные зверем, петляли по коч-

кам и терялись в темноте вакового урманна. Он казался непроходимым, этот урман, где лежали завалы зеленых колодин, напряженно скрестился сухарник с отставшей мертвой корой и прямыми голыми сучьями. Ноги вязли во мхах как в перине. А в ветреный день лес стонал старушечьими стенами.

Помню, как робко билось мое сердце и стеснялось дыхание, когда я шел вслед за отцом, бесясь отстать, пока не добирались мы до Малиновых мысов. Глухие стены неоптанного бора стояли там на возвышении, кругом в ожерелье шиповников и малины, в темной живописи словых верхов по краям и каких-то особенно стройных холодно-светлых осин. Они росли отдельно, на отшибе. Почему-то до сих пор я помнил эти высокие привольно и спокойно стоящие нагие осины и тот тайный вопрос, который подсознательно беспокоил меня — зачем они выросли тут, чего ждут и кто оценит их красоту.

«Авось, разгуляется», — рассеянно думал я, вышагивая по сырому пахучему лесу. Часто весной бывает: с утра ветер, снежок даже летит, к полудню же, глядь, просветлело, заголубело окошками, солнце выставило озорной глаз, — и все начало теплеть, париться, улыбаться... «Весна ведь... Не осень...» — старался я утешить себя, чтобы ноги не повернули назад...

Серая большая птица странно полетела впереди. Как в немом кино, я видел взмахи крыльев и не слышал звука. Не знаю, почему я не удержался. Навскидку, уверенно чувствуя — «попаду», ударил дублетом, Звонком заложило уши. Птица оборвалась под ель. Еще не разглядев как следует, я с горечью понял, что это филин. Он сел столбиком и заскакал прочь. Показалось — прыгает пенек. Бегом я догнал лесное диво. Оно обернулось круглой головой с оранжевыми, вытаращенными, полыхающими глазами. Филин был огромнейший, старый, рыже-пепельный. Никогда не видал такого.

Филин двигался. Свечи-глаза горели, не мигая. Я стряхнул странное оцепенение и осторожно пошел вокруг птицы. И точно так же магнитно стала поворачиваться за мной дремучая ушастая голова. Едва я шагнул ближе, филин встопорчился, заклацал клювом и смело потянулся ко мне. Еще шаг — и он вдруг кувыркнулся на спину, выставив вперед, отводя к пушистому брюху такие раскрытые напряженные когти, что вся моя решимость взять птицу сразу отлетела. Вцепитесь — не оторвешь, в клочки испластает. Где-то я слышал, что филин выводит победителем даже из схватки с беркутом... Я отступил. Ванькой-встанькой вскочил филин. Снова смотрели друг на друга. Лицо его — у сов ведь именно «лицо» — беспрестанно менялось, все — от дикой угрозы до дьявольской усмешки — перебегало там. Волосатые веки жмурились с презрением.

— Ух ты! — замахнулся я прикладом и не опустил. В глазах филина мелькнула кошачья тоска, — иногда так смотрят побитые кошки, мудро и жалко.

«У, леший, надо же было тебе подвернуться! Да и сам я хорош, чему обрадовался? Хлоп, хлоп...» и уже трижды пожалел, что выстрелил необдуманно, и не знал, как мне быть, потому что живым его не возьмешь, не дастся, да и зачем он мне, что с ним делать? Убить — рука не поднимется, оставить так — ни за что пропадет редкая, по-своему красивая лесная уродина.

«Придется застрелить. Хоть на чучело...» —

наконец решил я, отошел шагов на десять и, спытываясь, пятился еще, собиравшая, что испорчу зарядом птицу с такого близкого расстояния. Хватит. Стоп. Филин каменно сидел под елью, он не мигая смотрел. Руки опустились. «Расстреливать собрался...» Стоял, думал... Снова поднял ружье.

— Не стреляй! — звонко и резко раздалось за спиной.

Я вздрогнул и обернулся. На тропе близко стоял человек с одноствольным ружьем в опущенной руке. Он был в зеленой телогрейке, брезентовой белесой накидке поверх нее и в форменной фуражке лесника. Что-то непонятное было в фигуре человека, непонятное и знакомое. «Да он же горбун! Горбатый!» — тотчас понял я, яснее осмыслив и разглядев квадратные, но какие-то немощно широкие плечи незнакомца, из которых выступала почти без шеи большая узкая голова с острым подбородком.

— Стреляли? — спросил он, не двигаясь с места.

Я кивнул.

— Филина?

— Случайно...

— Ээх! — морщась, с досадой сказал он. — Разве можно так! Ну вот зачем? Зачем?! Я этого филина знаю. Старик... Всегда тут живет...

— Он же вреден! — нелепо оправдывался я и понимал — говорю чужь. «Филина знает? Что за чертовщина!»

— А-а... Что вы оправдываетесь? Редкость это! Пошадить надо было. А почему с ружьем? Охота запрещена...

— Да как же здесь без ружья?

— Ну-ка, документы! Охотничий или паспорт давайте! — Он подошел вплотную и я понял, что странный горбатый человек не отступится.

Документы он листал внимательно. Потом хмурое лицо его несколько отмякло.

— Вы куда идете-то? — слегка заикаясь, спросил он.

Я объяснил.

— До Бараньих не дойти. Исток играет, разлился. Вся пойма в воде. Кусты с верхушками скрыло. Мост снесло. Широкое водополье нынче. Везде вода. Слышите, как ложок-то шумит... Вода, — уже тихо, певуче закончил он. Худое и долгое лицо лесника успокоилось, пропали гневные морщинки. Голубоватые светлые глаза посмотрели в упор, а потом словно бы сквозь меня.

— Вот что я вам предложу, — заговорил он после краткого раздумья. — Пойдемте-ка сейчас ко мне. Недалеко, четыре километра не будет. Я здешний лесник на Щучьем. Погостите у меня... Переночуете... А завтра я вас через озеро перевезу. Там до Бараньих островов рукой подать. Да и ближе за озером тока есть. Полчаса ходьбы...

Я поблагодарил, не зная, как быть.

— А-а... Ведь не познакомились. Леонид, — подал он костлявую, но крепкую и даже цепкую руку. — Живу здесь, на Балчуге, четвертый год.

— Неужели на выстрел? — подивился я его внезапно появлению.

— Нет, — усмехнулся он. — Поблизости был... Браконьеров стерагу вторую ночь. Они тут глухарку убили. Перья нашел. Выстрел слышал. — Он помолчал, поглядел под ноги.

— Сегодня не токарал глухари-то. Погода, сами видите, дурит. А жаль они не любят. Вообще, примечал я, глухарь загодя погоду чувствует,





в крепь уходит. А как дело к теплу, токует, хоть снег валится. Браконьеры это, конечно, знают. Другие сутки никого нет! А должны бы... Санька тут есть — мужик из Сорокиной. И еще есть с Илима. Со станции... Трудно их выследить с полчиным. Вас-то я еще с вечера заметил. Ночевал чуть не рядом. Я без огня... Такая моя работа. Думал — браконьерить собрались... Ну, что? Пошли на кордон-то?

— Да вот с ним как быть?

Филин по-прежнему не шевелясь сидел под елью.

Лесник что-то прикинул, пригляделся к филину, потом прислонил ружье к ближней ели, начал стягивать намокшую накидку.

— Что вы хотите сделать? — спросил я, все более удивляясь этому человеку.

— Возьму, — коротко ответил он. — Кажется, его боком задело. Не сильно... Крыло...

— Берегитесь!

Лесник не ответил, складывал брезент вдвое.

— Ну-ка, отвлеките его, заходите с той стороны! — скомандовал он и стал подкрадываться.

Филин передо мной шипел, цокал, надувался и, взмахивая здоровым крылом, угрожающе подавался вперед.

— Оп! — лесник накрыл рассерженного хищника. Из-под накидки раздалось шипение, треск материи, яростная возня.

— Есть! За лапы поймал! Держу... Надо его связать... Ну-ка, стащите с меня ремень скорее! — говорил лесник, стоя на коленях. Фуражка его торчала набок.

Кое-как мы скрутили ужасные филиновы когти и лапы в пушистых полосатых штанах, причем хищник и тут умудрился рассадить леснику руку, а меня больно долбанул клявом через брезент.

— Все! Берем... Эх ты, филия-простофиля... Айда-ка... — бормотал лесник, подымая птицу, закутанную в брезент, как младенца.

Филин демоном выглядывал из ворота накидки, не переставая цокал.

— Пригодится он мне...

Лесник взял сверток с филином под мышку, поднял ружье, мы пошли вперед по тропе, а потом свернули лесом. Лесник знал, видимо, какую-то свою тропу, я шагал следом и глядел в его мерно качающуюся спину. Эта спина была крепкой и мужественной, если б не горб, несуразно выпиравший ближе к правой лопатке. Портки болтались на тощих и долгих ногах лесника. Сапоги хлопали в подколенки. Но шел он споро. Временами оборачивался всем корпусом, смотрел словно бы растерянно, будто человек, что-то вспомнивший или, наоборот, забывший, и снова разухабисто шагал. В его движении улавливалось непонятное: он шел с частыми мгновенными остановками. «Так, наверное, ходят звери», — подумал я. Вот приостановился у цветка медуницы, потупившегося у тропы, взгляделся в морщенный лик пенька, послушал резкое «ки-ки-ки» пролетного сокола, зачем-то тронул на березе твердое бархатное копыто гриба-трутовика. «Ночная бабочка по цветам», — пришло нелепое сравнение.

Лес впереди редел, светлел. Началась кочковатая согра — невеселое, хотя и живописное разнорелье. Березы были тут высоки и прогонисты, ели чахлые, взлохмаченные, с посохшими снизу сучьями. Одни черные ольхи чувствовали себя хорошо, росли кучно и дружно вперемежку со светлыми осинами. Тропа петляла в сухой траве, по кочкам, а с кочек прыгали лягушки.

Талое рыжее болото открылось вскоре. Вдали белело озеро, соединенное с лесом долгим еловым мысом. Лес был и за озером, спокойные синие волны уходили вдаль, постепенно голубея, а там и совсем сливаясь с мутным темно-белым небом.

Мы были на краю кондовой уральской тайги, которая спускается отлогими хребтами в болотистое мокрое Зауралье и там переходит в мансийский урман — зеленую ровень лесов до каменных осыпей Таймыра.

Долго шли по зыбким оттавшим кочкам. Радужно посвечивал меж ними вонючий засол. Утки с треском срывались вперед. Белохвостые кулички уныло свистели: «Тлюи, тлюи...»

— Вон Балчуг, — показал мой вожатый на лесистую островину, которую я принимал за мыс. — Раньше это настоящий остров был, — объявил лесник не оборачиваясь. — Протока была. Теперь затянуло ее травой. Лес вырос. Заболачивается озеро. А место и сейчас зыбкое. Балчуг-то по-башкирски — болото, топь, жидкая глина. Летом и сейчас не вдруг пройдешь. Одни лоси прямиком ко мне заглядывают. Лось — он вездеход. Утром, бызает, выйду рано — плывут они через озеро, только головы торчат. Один раз под осень медведь переправлялся... Не знаю, какая нужда его заставила, — ловко плывет, как собака.

В мелколесье завиднелась серая с зеленью крыша из колотой драни. Показалась изба, темная, кособокая, срубленная неумело и давно. Ярким был лишь наличник окна, расписанный белым и желтым, он глядел весело, будто смеялся. К избе приткнулся горелый сарай с худой сквозившей крышей. Стог прошлогоднего сена и огород из долгих сосновых жердей дополняли лесниково жилье. Гнедая лошаденка бродила за изгородью, позванивала железным балабоном. Его звон отчужденно раздавался в тишине и напоминал колокол.

— А вон... встречают нас! — сказал лесник. Пушистая кошка бежала по тропе, прямо держа полосатый хвост, беззвучно мяукала.

— Машка! — усмехнулся лесник останавливаясь. А она уже терлась и горбила спину, путалась в ногах и заглядывала на хозяина. «Ты пришел! Я рада! Ты умный, сильный, огромный... Давай-ка, поедим!» — говорил кошкин взгляд. К филину она отнеслась настороженно и, поднявшись на дыбки, с недоумением принохалась, так же недоуменно опустила, поглядела вверх.

— Ишь, горбуха! Сошлись мы с тобой, два горбатых... — он вдруг посмотрел на меня своими синими глазами, и я уловил в них непонятное. А когда понял, смутился — это был обычный вопрос большого здоровому: «Как-то ты на меня смотришь?»

Я достал сигареты, протянул леснику.

— Не курю. Не люблю, — сухоовато отказался он и, словно устыдясь своей сухости, оправдался:

— Бросил, как сюда приехал. Воздух здесь. Цветы. Озеро пахнет. А табак все заглушает. Раньше курил... Много. Ну пойдемте, проходите в хоромы-то! Я ведь один живу.

— Совсем? — удивленно вырвалось у меня.

— Нет, видите, кошка есть. Гнедко...

— Кто же вам готовит, стирает?

— А-а... — он улыбнулся устало и посмотрел под ноги.

Я обругал себя. Всегда вот так: ляп оплеча, — потом стыдно. Ведь это, наверное, самое больное... Я заторопился в сени.

Внутри изба оказалась просторной и светлой. Но самое главное, что удивило меня еще в сенках — запах краски. Пахло здесь не олифой, не малярным запахом эмали, — пахло чистым льняным маслом, тюбиками белил, сиеной и кадмием, вместе со смоляным духом скипидара. Так всегда пахнет в мастерских живописцев.

Кухня была до блеска вымыта, выскоблена, выбелена в синеву и вся завешана этюдами — большими, малыми, совсем законченными, просохшими, слегка пожухлыми и только что написанными, на которых еще ласково блестела сырая краска. Впечатление было такое, будто я неожиданно попал на выставку. Любовно, со вкусом были выструганы некрашенные рамки. Этюды были подобраны по величине, размещены в каком-то не сразу угадываемом порядке.

Грубый мольберт торчал у окна. Два измазанных этюдника, побольше и поменьше, стояли в углу вместе с холщовым зонтом, какой носят с собой художники-пейзажисты. Кроме всего этого — печь с чугунок на шестке, маленький самовар да крашенная охрой глянцева лавка.

На этюдах сиреневые березняки смеялись в солнечном вешнем тумане. Розовый, синий, индиговый в тенях таял на косогоре снег. Курились проталины. Синели медуницы. Голые осинки гляделись в снеговую воду. Лесной вечер зеркально отражался в лужах, ночной печалью наливались облака.

Я обернулся. В сенях никого не было. Тогда я притворил дверь и сел на край лавки. Было совестно за свои грязные сапоги. Не ждал такой чистоты. Даже представилось, как лесник неовко моет пол, на коленях скоблит его, трет песком, чертыхается, зло выкручивает тряпку. Во всяком мужчине, моющем пол, есть что-то жалкое, холостое.

Я стянул сапоги, бросил их в сени. И, оставшись теперь в шерстяных носках, подошел к этюдам.

Они были написаны широко и свободно. В уверенном мазке, крепкой кладке цвета, контурах и колорите чувствовался настоящий живописец, который не боится краски и тем отличается от кустаря-копииста или умельца из клубной студии. Смелость была поразительна. Краска лежала почти скульптурно.

Но чем-то и странным были этюды. Какая-то общая печаль лежала на них на всех, и я беспокорно искал причину. Да что же это!? Зеленая заря над серым озером. А вот красные полосы врезаются меж зеленых летних тонов. Красные ветки. Фиолетовый снег. А вот небо, сотканное из зеленых, сиреневых и белых тонов...

Словно бы нарочно спутаны цвета. Манера что ли? Красное вместо зеленого. Кадмий вместо хрома... А в общем холодок по скулам, как от новой музыки... Зачем же это он в лесниках торчит? Бегство от жизни? В наше-то время!?

Особо приглянулся небольшой этюд. Тонкая осина жабла на ветру. Рвался с осины последний лист. Хмурилось снеговое небушко.

Лесник отворил дверь.

— Устроил! — довольно сказал он, входя. — В конюшню пока посадил. Потом палок набью, чтоб не выскочил, и пускать живет. Ох, злой. Прямо леший еловый... Кидается, шипит!

Снял фуражку со стриженной головы. И я, наконец, разглядел его как следует. Он был бы, видимо, высок, если б не горбатость и сутулость. Стриженный, без фуражки, он напоминал теперь

подростка-беспризорника, недавно вышедшего из больницы, так худо-неказисто было его долгое лицо, бледное, несмотря на загар.

— Любуюсь, — показал я на стены. — Художник, конечно?

— Так недоучка...

Рукав рубашки у лесника был распластан. Кровь темно звездилась на выскобленном полу. Он ушел в соседнюю комнату за ситцевую занавеску.

— Проходите! — послышалось оттуда.

Заматывая руку бинтом, он стоял в светлой и тоже очень чистой комнате, с двумя окнами на озеро и одним в огород. И здесь по стенам висели пейзажи. Впрочем, был среди них и портрет. набросок красками, как будто по памяти. Девушка. Нечто светловолосое, розовое, бездумное, с мелконьким домашним взглядом.

На двух полках в углу разместились книги. Батарейный приемник стоял на тумбочке у железной койки. Стол занимал простенок. У стола, напротив друг друга, стояли кожаные мягкие кресла. Они-то удивили меня особенно — огромные, нелепые, с перетяжками, с потемнелыми медными пуговицами, вдавленными в обивку. Такие кресла редкость теперь, даже в скупке старой мебели. Как занесло их сюда, в глухомань, ведь поди-ка с полтонны каждое...

Понимая мои мысли, лесник улыбнулся.

— Наследственные! Здесь до меня лесник жил, Виктор Семеныч. Говорили, браконьер — нет спасенья! Он тут и уток солил бочками, и рыбу в замор под весну возами отправлял, лесом торговал... Как в вотчине, в общем, жил. Кум королю... Потом посадили его. Имущество описали. Кресла, наверное, тоже. Да как же их повезешь? И кому они? В добрую квартиру не поставишь, в избу — смешно. Теперь я и пользуюсь. А кресла-то?! Каждая пуговка с двуглавым орлом! Троны... Садитесь, попробуйте. Сейчас чаем побалуемся.

Он мотал бинт, а кровь все проступала сквозь марлю.

— А-а, черт! — с досадой буркнул лесник, скрываясь на кухне.

Я сел в широкое приземистое кресло. Легонько и упруго оно обняло меня со всех сторон. Тело славно отдыхало в его прохладных глубинах. Я откинулся на спинку, сидел не шевелясь. В окне видно было раздолье озера, мутная синева дальних лесов, светлая полоска льда на свинцовой воде. Все было просто, печально, первобытно — свежо, как всегда бывает вдали от жилья, от больших городов и селений. Щучье нравилось мне — настоящее лесное озеро, не слишком большое, чтобы подавлять своей величиной, неприятно-огромной равниной холодной и глубокой воды, и не закрытое лесом, не слишком маленькое, на котором чувствуешь себя стесненным, как в луже. Оно было не широко, но длинно, как северные проточные озера — туманы. Редко над его пасмурными волнами торопились стаи каких-то уток. Шел весенний жоркий пролет, который не оставляет никакой погоды.

«Хорошо-то как здесь! — подумалось с некоторой завистью. — Лес. Воздух. Озеро какое! Живи себе, пиши этюды, рыбачь вволюшку. То ли не жизнь!? И никакого тебе начальства, ни споров, ни отчетов, поди-ка... Лесничий? Какой лесничий сюда поедет? Стережешь лес — хорошо, и на боку пролежишь — судить некому. Я вот на три дня вырвался, наглядеться не могу, надыхаться...

А тут каждый день... Погоди-ка, погоди.. Каждый-то день лес приглядится. Равнодушному, которому лес — дрова. А может ли надоесть самое близкое, нужное? Ведь не приедается хлеб, вода... Без них не проживаешь, а без лесу можно. Посидишь тут месяц — волком завоешь. Один. Без друзей, без жены, без привычных каждое утро улиц, газетных киссков, магазинов, лотков с мороженым».

Я слушал песню самовара и шаги на кухне. В горницу тянуло ладанным дымом горящих шишек. Но вот самовар гневно загудел, и лесник появился с ним, неловко неся, отстраняя лицо и морщась. Ярко начищенный песком забубенный самоваришко и на столе не мог успокоиться, фыр-кал, брызгался, распространяя по горнице кисловатый угар недотлелого угля. Лесник хлопотал, брякал тарелками, доставал кружки, сахар, за-кляклый хлеб, к которому как нельзя лучше подошла бы пословица «если долго его разглядывать — не станешь есть». Появилось варенье темного рубинового цвета.

— Малина, — пояснил Леонид. — Может грибов хотите? Только они пересохли. Не умею я их... Мало соли кладешь — киснут, много — есть нельзя... Капуста, кажется, лучше...

Явились и грибы, и капуста, а он все суетился, бегал на кухню, возвращался, наконец, сел. Обвел ладонью отсвечивающий на концах ежик волос и поглядел с таким радушием, что я почувствовал неловкость — давно меня так никто не встречал.

Должно быть лесник проголодался, пил чай с увлечением, шумно, хрустел сахаром, вздыхал, кричал, отдувался. Высокий лоб и долгий нос его потно лоснились. Он вытирал испарину и быстро говорил в промежутках между глотками.

— Токов за озером много... В сорок первом квартале... В сорок втором... В тридцать четвертом... Везде глухарь теперь. До двадцати штук поет, по моим подсчетам. Еще молодых скрипунов десятка полтора... Я за глухарями строго слежу, в марте по насту считал... Самый ближний ток за озером там, — он указал кружкой на восток. — Видите, гора повыше других, вон шалкой поднимается. Это Медвежья. Глухая гора. Вся там в ельниках, в кедровиках, в гарях. Малинником заросла. Под горой — речка... Тоже Медвежья называется. По речке-то кое-где покосы старье, прогалины... Раньше там был курень. Уголь жгли. Давно. А лес-то какой! И сейчас сосны, ели есть — во! На коне объезжай. Башня башней стоит... Триста, а может, четыреста лет ей, и не сохнет. Вот глухари-то и любят это место. Придешь — либо: там щелкает, там щелкает. Копалухи: ко-о, ко-о. Тетерева тут же близко на покосах токует!

Он забыл про чай и размахивал пустой чашкой, блестя глазами, продолжал:

— Я уж их не считаю. Иногда прямо на кордон прилетают. Вон, на березы-то, — показал в окно на огород — Осенью, ближе к зиме, как поспеет на березах сарезка, снежок выпадет, выйдешь рано в сенки, а косачи уж тут, затемно прилетели. И вдаль-то по березнику, как углем начерчено. Вот сколько!

Помолчал, налил чаю.

— Замечая я — всякий зверь и птица хорошо к человеку привыкают, если он их не бьет, не трогает. Понимают его... С ружьем или без ружья — это сразу... Я о том, что в лицо, по одежде узнают. Не делаешь птица вреда — она

тебе доверяется. На что уж дикари тетерева — вылетит, как шальню, мелькнул и нету, а был у меня прошлое лето тетеревинок ручнее курицы. Наберу ему травы, муравьиных яиц, — бегай за мной, из горсти клюет, на ружье сидит. Гляжу на него и думаю: почему это у нас из домашней птицы одни куры в почете? Вот бы лесную птицу так приучить. Корму ей сколько куропаткам, глухарям... Мало мы этим занимаемся. По старинке все: ружье, ружье. Одно ружье. Я уж сам думал такие опыты начать. Косачишкито у меня на Балчуге токует. Видно место их тут ваковое. Так хорошо урчат, курлыкают... Таскают друг друга, как петухи. Да кошка пугает. Такая потвора. Лупить — жалко. Запираю уж теперь другой раз...

— А все-таки как же тут одному? Неужели не одиноко вам? Лес, болота кругом. Летом комары, наверно, ездаяют...

Я решил идти напрямик. Лесник, однако, не ответил, пил вторую кружку и похоже даже медленнее, чем было нужно. Что-то обдумывал. Я ждал.

— Мишка! Эй Мишка, Мишка, — вдруг негромко позвал, свистнул он.

Я подумал, что он зовет собаку или кота, а в кухне застучали коготки, и в дверях появился маленький полосатый зверек — бурундук. Он подбежал к леснику, прыгнул на колени, мгновенно вскарабкался на плечо и сел, забавно приплюсываясь, озорно блестя выпуклым черным глазом.

— На! — лесник поднес на ладони кедровый орех, и зверек тотчас принял его тонкими лапками, отправил в рот не жуя. — На еще!

Бурундук прятал орехи с проворством фокусника. Щечки у него надулись, как будто он сдерживал смех.

— Больше не дам! — сказал лесник и снова свистнул. — Зверек послушно начал спускаться и убежал, а в дверях показалась та сытая кошка, что встретила нас на тропе. Она толкнулась о кресло лбом, потянулась, выпустила когти, и брякнула на бок. Поймав ногу хозяйина, она цепко держала ее.

— Пошла! — притворно гнал он, а кошка лишь крепче жалась к ноге, мерцала глазами.

— Вот Клеопатра! — сказал он и расхохотался, закашлялся. — Так и живем. Кошка — мать того бурундучка. Она его выкормила. Я ее, видите, с котятками из деревьев принес, а котятки издохли по какой-то причине. И вот как раз этот бурундучок подвернулся. В обходе я был и нашел его под колодой слепого. Подложил ей, думал, съест!.. Выкормила. Вместе играют. Она его схватит за шиворот и носит. Не убегает он никуда... Зимой только спит все время в подпечье, редко вылезает. А вообще-то Машка бурундуков ловит и ест. Вот вам загадка... Хо! Что это?! Никак выстрел? Слыхали? — Он обеспокоенно заерзал, вылезая из глубины кресла. Неужели не слышали?

— Нет...

— Стреляли, стрелял кто-то!.. Ну, вы тут пейте, а я сбегая... Близо вроде... У Афонина покоса. Кто бы это?

Он проворно убежал на кухню. Шлепнули с печи сапоги. Через минуту брякнула дверь, за крыльцом прочмокала грязь.

«Покрасоваться, что ли, решил? — подумал я, прозвонив в окно мелькнувшую фигуру лесника. — Или блажной какой-то?» Все в этом человеке удивляло и настораживало: его необычный вид,



странный проникающий взгляд, от которого хотелось отвести глаза, быстро-нервная речь, когда слова бегут, как мысли, с обрывками и недо-молвками, и то, как он замолкал — чувствовалось: все, не отпереть никаким ключом. Этюды... Почему все-таки он пишет закат зеленым, а лес коричневым?... Убежал из-за стола? Право, чудак...

Я вышел из сеней. Снеговая небо повисло над черным лесом. Мутные, седые в краях облака вытягивались на верховом ветру, меняя очертания. Пасмурной тоской веяло от них. Я пошел бродить по Балчугу. Дождь не перестал, хотя на горизонте иногда светлело. То одна, то другая низкая туча напарывалась на острые пики елей. Начинал сыпаться снег. Он летел густо, и тогда все вокруг, земля и трава, ненадолго перво-снежно белело.

Сразу за огородом было мелкое чернолесье, где паслась мокрая гнедая лошаденка. Со спины и боков лошади курился пар. Она подняла голову, посмотрела сквозь черную челку, как удивленная женщина, мотнула гривой — черт носит — и снова принялась выщипывать с корешка молодую травенку, спокойной охлестывая себя хвостом, побрякивая железным балабоном.

За мелколесьем открылась порядочная пашня, огороженная старым жердьем. Белоспинный

дятел ползал по изгороди и стучал. Он тоже поглядывал недоуменно, даже замер на мгновение, и стал долбить мокрую жердь, по всей длине которой лежала белейшая полоска снега, оттененная черным. Я подошел к дятлу почти вплотную — он не улетал, все стучал и стучал, откидываясь, слегка переползал, пока не обследовал жердь до конца. Тогда он насупился, оценивательно глянул, склонив на бок свою расписную черно-белую с красным голову: «И что ты тут шляешься, бездельник, мешаешь работать? Тоже мне, уставился!» Дятел нырками полетел к столбу, цепко поползал и снова захопотал.

По пашне тянулись зеленые бархатистые строчки. Горностаевыми спинками серебрился на них сырой снежок. Я пролез меж скрипнувших жердей. Тысячи молоденьких сеянцев кедра выставили над землей шелковые усики, рядом шли строчки сосновых ершиков и еще какие-то с виду безжизненные стебельки, должно быть побегии лиственницы.

Везде находил я следы деятельности лесника: стожок сена, растеребленного лосями, срубленные осины, до костяного блеска обточенные зайцами, кучи мелкой озерной гальки, иногда колоды-дуплянки. Ни один выстрел не омрачал живую тишину леса. Лишь шуршал дождь, возились мыши в листовой подстилке, да птицы силь-

нее пели к вечеру. Лесной конек взлетел с одной боковой ели, парил над полянкой, и его стонущее, протяжное «вить-вить-вить» тревожило душу колдовским наговором. Меня всегда завораживает песня этой долгохвостой птички.

К кордону я вышел в сумерках. На берегу, близ воды, красно горел костер. Кипел в огне закоптелый казанок. Лесник помешивал в нем, отирая слезу. Рядом жмурилась на огонь все та же серая кошка.

— Вот животина, никуда от меня,— толкнул он кошку.— И в лес сопровождает... Гоню уж... Потеряется. Говорили, один кот к хозяину за двести километров пришел... Ухи ждет.

— Нашли, кто стрелял?

— Вон в избе...

— Кто? — не понял я.

— Ружье отобрал... Парни из Сорокиной... Деревня тут ближняя. Эти так, по молодости. Осенью отдам ружье. А то бы...— Он мрачно, криво усмехнулся и поглядел в сторону.— Пусть пока у меня отдохнет.— Поправил сучья в костре. Хлестнул по земле загоревшейся веткой, бросил ее в костер.

Я спросил про питомник.

— А-а! — откликнулся он охотно.— Главная моя забота. Все лето и весной в нем копаюсь. Хочу понемножку лес облагораживать. Я такой план себе назначил — где садить и что. Тут, видите, раньше везде лес рубили. На уголь жгли его и возили в Старую Утку на завод. По сечам-то наросло осиннику, берез, липы, а хвойного дерева нет как нет. Осину я люблю. Красивая, растет скоро... Древесина поделочная. Лодки, долбленки, спички, наконец... Только недолговечное это дерево. Чуть за полсотни — начинает гнить. Гнилушки, сами знаете, в дрова и то не годятся. Я и начал понемногу сводить осинки. Ель сажу, сосну, кедр, где орехами, где саженцами. Дело хлопотное — лес садить. Механизация — одна лопата. Бур я еще такой приспособил, вроде большого коловорота.

— Так ведь это капли в море, — возразил я.

— Судите, как хотите... Я один гектар леса засаживаю. А если б помощники были?... Рубим мы лес-то, ох, как рубим... Недавно читаю: «Будущее уральского леса». Ну-ка, думаю, что там за будущее? Пишут, оказывается, как его быстрее на севере сводить. Дороги, мол, надо, техника нужна... А-а. Не резать — садить она нужна, техника-то...

— Лес и сам возобновляется.

— Возобновляется, конечно, да только самосевом он редко хороший идет. Какое, по-вашему, дерево нужнее? В первую очередь сосна. Ну, ель, лиственница еще. Краснолесье... А растет на вырубках березняк с осиной. Это когда-то у него под пологом пойдет хвойный, — так его триста лет не дожدهмся.

Он встал с колен, снял бурливый котелок. Отставил в сторону. Котелок смирился, перестал клокотать. Костришко тоже словно остыл, рассыпался углями. В сумерках долгоносое лицо лесника было суровым и жестким. Может быть, так казалось от заревого цвета углей, которые то медленно замирали, то вдруг вспыхивали, желтым с голубой обводкой пламенем, и ненадолго оно плясало, рыбило над головнями.

Пасмурно шумело озеро и лес. Ночная мгла заволакивала небо с севера.

— Вырубим... Высечем... — словно сам с собой заговорил он.— Ну, а потом? Потом что?

Он прищурился на меня в упор, точно я был виновником лесных бед.

— Что же вы предлагаете? — спросил я.

— Да что предлагаете? Просто, если б мог, установил бы такие законы: срубил дерево — посади два. Даже и под пашню сводить лес не давал... Самая простая уловка: надо дровишки, не охота за ними ехать, на далах рубить, — вали, ребята, у самой деревни, потом, скажем, пастбище понадобилось... Вот здесь, в Сорокиной, колхоз есть... Лесных угодий у него двести восемьдесят гектар. И рубят они эти гектары, только треск стоит. Ни плана, ни порядка... Ни с кем не считаются. На лесосеке сучки, хлам, сенинники не оставляют. Вмешался я было, к председателю явился. Так и так. «Почему в верховьях Истока рубите?» — «Надо и рубим. Клуб строим»... — «Там же водоохранная зона...» — «Какая-то зона? Ничего не знаем...» — «Запрещаю вам рубку!» А он только похмыкивает, улыбается и на дверь смотрит... Накося — выкуси, мол, друг, да иди отсюда восвояси, запретитель нашелся... Через день проверил — рубят. Хотел пилы отобрать... Да что я сделаю против двадцати мужиков да и, так сказать, смешно это... Я в лесничество. Пока суд да дело — двадцать гектаров, как корова языком слизнула, ну, правда, заплатили они штраф. Так ведь штраф-то председатель не из своего кармана вынул. А лес разве те деньги стоит? Попробуйте-ка, вырастите его...

Я не нашел, что ответить. Из своего малого знакомства с лесным делом, из газет я знал, конечно, что лес рубят, план выполняют и что каждый год есть еще «переруб». Это слово тревожило меня, горожанина, однако не сильнее, чем, скажем, слабенькая боль в желудке человека не ведающего, что он уже болен опасно и тяжело. Иногда, читая о «перерубах», я задумывался, представлял, как картинно-медленно валятся сосны — видел такое не раз в кино, — представлял, как их стволы-хлысты волочит упрямый гусеничный трелевочник, вспоминая тяжелые составы с верхом, груженные ровным пиловочником и кругляшом, и всегда думалось: «Вот где-то рубят, а может быть, это и есть тот самый «переруб».

Лесник словно ждал от меня какого-то ответа, и не дождавшись, досадливо поморщился.

— Ну, давайте-ка за уху. Разболтался я, простыла, небось.

Худой долгой рукой он потянул котелок за черную копченую дужку.

Мы подбросили в костер. Сучья загорелись и стало веселее. Уха из ершей была жирная, вкусная, с тем несравненным ароматом, какой бывает лишь у самой свежей пищи на воздухе. Отирая дымовые слезы, морщась, я хлебал ее с усердием изголодавшегося, а лесник и за едой не мог успокоиться. Хлебнув ложку, другую, откусив черствой краюхи, он отставлял крышку котелка и, жуя, глухо говорил:

— Откуда... скажите... такая мода: человек — все! Он царь, бог, господин, мыслитель... А прочее — низшее, недостойное, рефлексивное... Как же! Ведь это только мы можем страдать! Нам только осмысленно больно! Собаке вот больно, а неосмысленно. На том и стоим. Вы, конечно, читали Арсеньева. Помните, как Дерсу все очеловечивал? Вода, лес, камни, птицы — все у него «люди». Лю-ди! Помните: «Его все равно люди, только рубашка другой. Обмани — понимай, сердись — понимай, кругом понимай». А? Ведь

он говорит, что и дерево, и птица, и муравей заслуживают уважения, никто не дал нам неоспоримого права, чтоб их вон из жизни...

Он поперхнулся, закашлялся, бросил ложку и, вытирая глаза, продолжал:

— Наверное, я переборщил... Говорю — раз человек богом стал, пусть будет богом добра, справедливости, разума. Вот чего нам подчас не хватает... И я ведь тоже лес рублю. Делянки отвою. Надо. Да и кто поспорит, если лес вызрел, зачем ему на корню гнить...

Он вывалил кошке разваренную рыбу и, качиваясь, пошел к воде мыть котелок. Тем временем стемнело. Костер шипел и дымил. Дождь пошел гуще. В сумерках он казался серым, должно быть, от пролетевшего снега. Над озером в мрачном куполе неба и по горизонту что-то вспыхивало, дрожало красноватым светом, гасло и снова занималось — не то отдаленная гроза, странная так рано весной, не то всполохи северного сияния, вестники сильной магнитной бури.

Я посмотрел на свой ручной светящийся компас, стрелка запрыгала, рыская во все стороны.

— К худу такое! — лесник повел взглядом по мутному горизонту. — Ветер будет... Непогода. Сколько раз уже замечаю: начнет в облаках поблескивать, не жди добра. Холодная нынче весна... Затяжная и еще холод будет и снег. По зайцам видно. Зайцы весной долго не линяют — жди холода. И как все интересно, как мало знаешь, мало видишь... Я только теперь лес начинаю понимать. Учусь у него. А он вперед все знает. Не верите? Сам не верил... Вот к примеру: много ягод на рябине — это к крутой зиме, мало грибов под осень — тоже... Нынче вон сок из берез сильно бежит... Дождливое лето будет. Не смейтесь... Вижу — не верите. А так. Вот Гнедко храпит к ненастью — точно всегда. Как начнет головой трясти, закидывает ее вверх — обязательно дождь пойдет... Птицы, звери лучше нас погоду чувствуют. Смотреть надо. Даже лето какое будет — скажут. Начнут птицы гнезда вить на



солнечную сторону, весь июнь холодом пройдет...

Он помолчал, недоверчиво ощупал мокрую от снега траву, вытер руку о брезент.

— И по радугам можно погоду угадать. Вот, к примеру, крутая радуга к ясной погоде, чем она зеленее, положе — дольше дождь. А синяя радуга вовсе к ненастью. Я и сегодняшнюю погоду угадал. Все сошлось. Кто, думаете, сказал? А жаворонок. Не слышно его с самой зари — всегда будет дождь, а сегодня и журавли даже молчат, и лягушки. Помните, как они вчера с кочек сыпались? Ну, когда мы сюда-то шли. Небо вот затянуло с севера. Не к добру это...

Мы вернулись в избу.

— Ложитесь-ка раньше — предложил Леонид. — Вставать до свету. Вот на мою койку. Ни-ни-ни! Я устроюсь! — возразил он на мое намерение лечь на полу.

Он сдвинул кресла, поставил меж них широкую табуретку, принес откуда-то сеник, полчились нечто похожее на постель. Стыдясь своего положения гостя, который стеснил радужного хозяина, я лег. Лесник задул лампу. В комнате запахло копотью, в темноте едва различались окошки. Я глядел в их жуткую пустую мглу и никак не мог заснуть. Леонид тоже как будто не спал, ворочался, покашливал.

— Разве у вас не должно быть помощника? Бывает, кажется, на кордонах пожарный сторож? — не утерпел я, прислушиваясь к покашливанию лесника.

— Есть! — глухо раздалось в ответ. — В Со рокиной живет... Толку... как от божьей коровки. Пойдет будто на вышку дежурить, а сам по яго ды. День его нет и два, и по неделе не бывает. Хромой. Плотничает... Раньше с прежним лесни ком у них рука руку мыла. Со мной не ужился. К тому же, изба у него сгорела. Не его изба, лесничества... Уехал. А огороды я у них под питомник... Национализировал, — должно быть усмехнулся в темноте лесник и замолчал.

Проснулся я в такой же тьме, даже в окна не белело.

— Вставайте... Всех глухарей просним. Пого да только плоха. Не пойдете, может? — говорил Леонид, вылезая из своих кресел.

Я на ощупь таял сапоги, отчаянно зевал. Каж лось, будто не спал я вовсе.

Меж тем лесник зажег лампу, долго царапал стеклом о горелку, наконец, вставил, прикрутил фитиль. Стекло запотело, медленно отходило. Желтый огонек моргал, вздрагивал, будто и ему было зябко со сна.

Собрались мы скоро, вышли в сени и оттуда в пахучую ветреную тьму. Ветер шумел в не дальнем лесу. Ухала в берег волна. Стучала на сарае полоторванная тесина.

— Раскачалась непогодушка... — пробормотал лесник, выходя вслед за мной, прихлопывая бряк нушую железную дверь. Кругом была ямная тьма. Я долго не мог сориентироваться, ступал ощупью и, как ребенок, держался за жесткий брезент лесника. Когда глаза освоились, я различил песок бе рега и мрачную равнину воды. Тучи стелились над ней, мутно-светлые, с быстро меняющимися краями. Озеро показалось теперь беспредельным и зловещим, особенно вдали, в непроглядной чер ноте. Волны расклевывались по песку, откатыва лись, оставляя пену. Иногда они достигали двух плоскодонок. Мы сдвинули ту, что была поболь ше, спустили носом в озеро. Лесник велел са-

диться, подал весла. Через минуту, оттолкнув лодку, он сам очутился на корме с шестом в руках. Волна застучала в поднятый нос. Лодка закачалась. Я выравнял ее натужными гребками, и она упруго пошла на волну, в ветер и мглу. Дул студеный хваткий полуночник. Дождя не было, и я подумал, что погода разгуляется. Даль ний берег Щучьего смутно угадывался. Он был плотнее ночного неба. Когда я освоился с лод кой и почуял, если можно так сказать, ее ха рактер, она пошла ровнее, хотя качало сильно, с весел летели брызги, уключины скрипели, и я все никак не мог отделаться от ощущения, что мы стоим на месте и даже словно бы плывем по валам назад. Лесник на корме почти не двигался, правил молча. То, что я принял впопыхах за шест, оказалось рулевым веслом.

Мы плыли долго, может быть, целый час, а лесник все помалкивал. Может быть, он обду мывал что-то, или выговорился вчера, но его молчание как-то угнетало и все время хотелось спросить, что с ним. Я никак не мог примириться к этому человеку, то откровенному до горяч но сти, то замкнутому и как будто надутому.

— Почему озеро Щучьим называется? Щуки, что ли, много? — наконец, спросил я, чтобы не молчать.

— По рыбе... — нехотя отозвался он.

— Здесь ведь в лесах есть еще озера?

— Есть... Малое Щучье... Половинное.

— Говорят, будто в Истоке бывают крупные щуки?

— Врут. Такое дело... Рыбак да охотник...

— ...

— Сейчас мель будет. Левее, левее, круче забирайте!

Лодка все-таки заговорила по дну. С хру стом зашелестел песок, мы встали. Берег был близко.

— Подвести к глухарям или сами? — не ожи данно спросил лесник. — Дело-то, видите, какое: надо мне тех браконьеров задержать... Ну, ко торых я вчера ждал. Обязательно ведь они явят ся... Так, если сами пойдете, берегом держите. Шагов через двести попадетс я тропа. Вот вам фонарь. Как тропу найдете, идите по ней, пока не начнется подъем на Медвежью. Тут речку услышите — она теперь сильно шумит. И сторожи тесь, слушайте. Глухарь везде тут токует. Обрат но приеду за вами к полудню. В случае чего стреляйте три раза... Ну, как?

Мне показалось в темноте, что смотрит он испытующе, насмешливо и даже улыбается.

Не раздумывая долго, я надел ружье на шею, сунул фонарь в карман и полез через борт в черную воду. Зачерпнул в сапоги, испугался, выругался, шумно пошел к берегу. Лодка тотчас отплыла — лесник, видимо, торопился.

Первым делом на берегу я осматрел ружье. Оно открылось с привычным хрустом и щел каньем, ловко приняло патроны и молодецки за хлопнулось, тая угрозу. Зачем-то я даже погла дил стволы. Потом вылил воду из сапог, надел их и поглядел на фосфором мерцавший компас. Он показывал почти в нужную сторону. Я вклю чил фонарь и осторожно пошел через камни и полузатопленный плавник проседающим под но гами песком.

Чувствовал себя я нехорошо, тревожно. Один, один, один, — отстукивало сердце и стано вилось даже немножко душно. «Как теперь вер нуть? Вдруг не приедет?» — лезли в голову глупые



детские мысли и почему-то не казались глупыми тут, в темноте и шорохе ветра. В ноги бухало волнами, иногда окатывало брызгами, где-то позади был разливающийся в бесконечных поймах Исток, слева выжидаяще и враждебно чернел лес.

Тропа повела в непроглядную темень ельника. Фонарик едва горел, должно быть кончалась батарея, жалкий кружок желтого света дрожал под ногами, высвечивал протаявшую траву, мох и кочки. Я спотыкался, хлюпал по воде, проваливался едва не по колена, шуршал по сыпучему снегу. Там, где лежал он, было немного светлее, синеватый отсвет давал различать подножья деревьев. Высокий безмолвный лес накрывал меня, и порой представлялось: иду бесконечным сырым подземельем — так глухо, мрачно и темно все кругом. Временами я останавливался, гасил фонарь и слушал... Раз послышалось — шел кто-то редкими тяжелыми шагами, шел и останавливался. Так часто бывает в лесу, когда нервы напряжены и слух обострен: то слышится непонятный гул, то какой-то гром, словно взлет невиданной птицы, и никогда эти тревожащие шумы не ясны, не ведомы вполне.

Когда тропа стала суше и ощутился подъем в гору, донесло рокот и говор речки. Она шумела по-весеннему буйно, точно где-то там, в черноте и тумане, обрывался водопад.

Щелкнуло четким костяным звуком. Тишина. Снова щелчок... Еще и еще. Щелканье походило на громкое «тэк», «тэк», словно кто-то восхитился, пришел в изумление. Я уже понял. Он! Близко! И, наверное, слышит меня. Замер, боясь ступить дальше, а звук стал раздаваться чаще и равномернее, будто медленно двигался по лесу некто костяной и косточки его постукивали: «тэке... тэке... тэке...» Смолкло. Тишина заложила уши. Будто и речка внизу утихла. «Уэк, уойк!» — с английской мягкостью крикнула ночная птица. «Тэ-тэк... те-тэк тк... тк... трр», — послышалось, убыстряясь, и вдруг впереди кто-то побежал с хворостинкой по забору, и этот треск перешел в жадный и жаркий железный шепот. Баба-яга шептала — причитала там, творила свою нечистую молитву. Постукивала себя по костяной ноге и снова шептала горячо, убежденно. Слушал, дивился, озноб стекал по спине. Дик внезапный этот лесной шепот. Вот шумело, переместилось по лесу. Будто ветер пронесся вершинами. А я все не мог усмотреть глухаря, хоть и ясно различал теперь на бледно зеленоющем небе треугольные вершины елей. Высокий слом обозначался впереди, ель с обитой молниями верхушкой... Вот завозилось, заворочалось на сломе, черная длинная рука поднялась и пошарила по небу, будто щупала, крестила звезды.

«Он!» — с восхищением смотрел я, различая теперь и задранный хвост птицы, и весь его профиль, как-то напоминающий древнюю лиру. И снова холодом окатило спину. «Тк... тк... тк... тктррррр... чишуша-шивашу, шува-шик... тк... тк... тк... тктрррр чишуваш, шухаваш, шухаваш», — колдовал глухарь.

Посветлело. Желтое, кумачовое огниво длинными лентами проступало меж облаками. И вершины, самые макушки леса тотчас зарделись отсветом. И посинели тучи. Лес словно улыбнулся солнцу, как улыбается спящий, когда белый утренний свет тихонько и ласково трогает его. Опускалась в низины ночная мгла, оборачивалась туманом, оседала изморозью на камнях и ветках, и совсем исчезала под темным лучом, чтоб

снова родиться с первой звездочкой под скрип козодоя и песню зарянки. Сколько раз видел я лесные утра, и они были новы, никогда не повторялись.

Треснул, лопнул сучок. Хруст и шелест повторился дважды. Глухарь смолк. Я видел его хорошо. Вислокрылая птица, с развернутым веером хвостом монументом стояла на сломе. Вот глухарь переступил, тревожно поводя шеей. Перо его вдруг пригладилось, хвост сложился.

Бац! — огненным снопом полыхнуло справа, меж деревьями. И тотчас, еще не понимая, что случилось, я увидел, как глухарь валится с ели, медленно кувыркаясь, задевая, ломая ветки. Веско стукнуло в снег под елью, захлопали крылья и смолкли.

Качались воздетые еловые руки. Поспешно шуршали по снегу шаги. С ружьем наизготовку я побежал туда с одной-единственной мыслью, от которой стало жарко: «Ах ты, сволочь!»

Я продрался сквозь ветки, вылетел на прогалину к подножью ели и в упор столкнулся с широким курносом человеком в телогрейке и резиновых сапогах с подвернутыми голенищами.



Блатная мешковатая кепка незнакомца была надвинута на самые уши. Черные внимательные очки двустволки смотрели мне прямо в грудь. Сперва незнакомец словно бы опешил, но через мгновение глазки под каменным уступом лба блеснули насмешкой, он потянулся к лежащему в снегу глухарю и, оскалась железом вставных зубов, бросил:

— Опоздал!

— Документы!! — заорал я, сам не зная зачем.

— Чи-во-о? — уже совсем другим голосом протянул курносый и разом выпрямился. — Документы тебе? Энти, что ли? — потрянул двустволкой. — Раз покажу — боле не захочешь. Документы... — Коричневые медвежьи глазки совсем спрятались под лоб. — Кто такой, чтоб права качать? Сам кто? А?

— Я-то инспектор... Вот... Пожалуйста... А ты браконьер! Сволочь ты... Понял? — говорил я, торопливо шаря за пазухой.

— Но-но-но-о! Не шибко! Че разорался? Мы ведь давно пужаные... Иди-ко, дядя, не ори. Сам-то че здесь? Сухару караулишь? Вон там ишо глухарь поет... Ен-спек-тор! Пока, значит.

Он потянул глухаря за пепельное крыло, перехватил за жесткие лапы, встряхнул и усмешливо, волчье глянув, пошел прочь валкой походкой. Мертвый глухарь волочился головой по снегу, оставляя темные кровавые следки.

— Не стреляй, мотри, а то ишо убьешь... — раздалось из-за елок, кепка скрылась в подлеске, затихая, хрустел, осыпался снег.

Было совсем светло. Ветреное утро занялось. Лес шумел весенним безлистным шумом. Всюду завывало пели зяблики. Свиристели зарянки. Слышались тетерева. «Кры-кры-кры, — тревожно кричала черная желна. — Кры-кры-кры. Киини — а-ай», — застонала она.

«Человека заметила», — подумал я.

Бум! — грянуло, раскатилось там. И слышно — снова повалилось, захопало. Стихло все. Лишь желна кричала уже вдалеке: кры-кры-кры...

Опустились руки. Бежать туда? Позвать на помощь? Сесть в снег, зажать голову? Безнаказанно и спокойно творилось совсем рядом зло, и я не мог его прекратить, не имел ни смелости, ни силы. Что мог сделать я, даже вооруженный, обложенный правами инспектора, против другого вооруженного человека, а может быть, даже двух-трех? Не мог же я в самом деле стрелять! Заставить подчиниться и повести за собой? Но ведь это только в кино браконьера опрокидывают приемом самбо, затыкают рот и ведут к леснику на веревочке. Оштрафовать? Ха-ха... Составить протокол? С собой были даже коричневые бланки. Протокол! По закону он будет действительным, если браконьер пойман с личным да еще в присутствии двух свидетелей. Ель, что ли, эту обломленную в свидетели взять. Ну, предположим, есть и свидетели... Что ему, браконьеру, за кара? В самом худшем случае штраф, какая-нибудь десятка, а то предупреждение, даже ружье навсегда отнимать нельзя. И, конечно, он все это знает, иначе с чего бы так осмелеть.

Присел на зеленую обтаявшую колодину. Внутри она иструхла, мягко прогибалась и крошилась, звездчатый мох опушил ее всю, из погнившей трухи росли прутья и елочки.

Работа лесника не показалась мне теперь ни идиллически привольной, ни заманчиво легкой,

как тогда, когда пил чай, сидел в кресле и глядел на озеро. Вот и охраняй тут, попробуй... Впрочем, можно ведь ничего не замечать. Сто-рожишь-то ведь неучтенную ценность. Глухарем больше, глухарем меньше. Эка беда! Кто их считал. Так же и лес, и зверь, и рыба — и вообще все, что в газетах именуют «зеленое богатство», «запасы дичи», «мягкое золото». Золото, золото... Настоящее золото хранят в банковых подвалах, в сейфах, за семью замками под надежной охраной, а это золото доступно всем, бери, что хочешь, если ты нагл, потерял совесть и стыд. Лесник? Иной лесник знает лишь свой огород, картошку, огурчики. Весь он занят одним: вовремя наставить сена корове, выкормить телка, привезти дровишек добрым людям — благо лошадь казенная, чего ей зря харчиться. Где дровца — там и спасибо, поллитровочка, еще кое-что. А с браконьерами дело простое. Увидел? Ну, ступай себе с богом. Лес велик. Глухарем больше, глухарем меньше. Не стало глухарей — и хлопот не стало... И сколько ведь помощников у такого лесника, помощников, на которых легко можно сослаться, — тут тебе и пожар, и вредитель-короед, и замор, и холодная весна, и «лиса, либо рысь», которая «яйса выедает», — как мудро объяснил мне полное отсутствие дичи на своем участке один такой страж леса. Мужичок этот отличался резкой прямой... «Ежели вижу, который с оружием, — я уж не подхожу. И так бивали меня не одиново. А жисть терять пока неохота. Дешево будет за шестьдесят-то пять целковых», — и глядел усмешливыми глазами.

Вот и я теперь такой же горе-лесник. Чем же лучше? Все-таки надо было как-нибудь помешать ему. Хоть бы второй глухарь уцелел. А что теперь делать? Бежать разыскивать негодяя по следам? Стрелять три раза, как велел лесник?

Ничего хорошего я не придумал и, посидев с полчаса, закинул ружье за спину, побрел к озеру уже знакомой тропой, где отпечатались на мокром снегу и земле рубчатые следы моих сапог.

После короткого утреннего проблиска снова хмурилось. Ветер не утихал, летел снег. Озеро покрылось белыми строчками бурунов. Я хотел выстрелить, но увидел вдалеке лодку и удержался. Лодка ныряла на валах, но шла ходко, как байдарка. Человек крест-накрест взмахивал двухперым веслом. Лесник — это был он — еще с лодки что-то кричал, за ветром и плеском волн я не мог разобрать. Он выпрыгнул в воду, поволок узкую плоскодонку к берегу и предстал передо мной мокрый, возбужденный, разъяренный, с каким-то неузнаваемо перекошенным лицом. И все оно — брови, глаза, губы — спрашивало.

— Санька! Это Санька! — быстро заговорил он, когда я рассказал, как было. — Конечно, он на лодке... Скорее... Скорее давайте... Вдоль берега... Может еше... Или хоть лодку заберем. Вы плывите, а я плешком. Плывите! — махнул он и в три прыжка скрылся в зарослях нарядно белеющей вербы.

Я поплыл, неумело выгребая двухперым веслом. Новая легкая лодка не слушалась, рыскала, захватывала воду. Двигался я, видимо, крайне медленно, злясь на себя, на эту норовистую посудину и на ветер со снегом, все время сносивший на прибрежную мель. Примерно через час завиднелась на песчаной косе сутулая фигура

лесника. По одному тому, как он стоял, безразлично глядел на озеро, было ясно, — никого не нашел.

— Нету! Наверно в Истоке он лодку спрятал. А мы сюда... — с горечью сказал лесник, шумно побрел по воде и плюнул. — Ну, скажите, неудача! Как черт ему доносит! Я туда — о сюда. Ведь думал, сегодня пойти с вами... Посомневался... Вдруг он на близь подается... А-а...

Он сел на весельную скамью, взял у меня весло, подождал, пока я устроюсь на корме, и лодка пошла с легким упругим шелестом, рассекла волну наискось, — она знала своего хозяина.

— Удрал Санька, ловок, — бормотал лесник. Напряженно работая веслом, он сидел ко мне спиной. И мне было совестно — вот он, горбатый, везет меня — здорового. В то же время было неудобно отстранить его — дать почувствовать наше неравенство, да слишком свеж был и мой плачевный опыт самостоятельного плавания вдоль берега. Ну как не справлюсь, опрокину лодку?

Ветер меж тем задул сильнее, волны шли вровень с низкими бортами лодочки и все казалось — следующая зальет нас без всякого усилия. Лесник греб быстро, иногда что-то говорил.

— В пряталки играем... — слышалось мне.

— Не бойтесь? — угрюмо обронил я. — Такой ведь пальнет, не оробеет,

— А-а, — донеслось из-за спины. — По мне уж стреляли.

— Как так?!

— Не стоит рассказывать...

— Все-таки...

— Обыкновенно...

Он не оборачивался, лишь весло замедлило равномерный размашистый ход.

— Расскажите, если не трудно...

— Чего трудного... Осенью прошлой... Сижу с красками... Утро темное... бусенькое... Тучки похаживают. Каплет. По Истоку листья плывут... Пахнет листом везде... Пишу я осину, забыл про все... Вдруг будто лопнуло. По-над шапкой-то: фить! Только кора с осины полетела. Не понял я. Встал... Слышу хрустит далеко... Убежал кто-то. Так не по себе мне стало... Хоть сам беги... Одумался, подошел к осине... В том месте — где кора отлетела — пуля...

Я подумал, сколько же леснику лет? Возраст его никак не поддавался верному определению. Не то сорок, не то двадцать пять. Морщины, вдруг возникающие глубоко и резко, засечены по углам рта... Такие следы жизнь печатает на лицах сорокалетних. Белые черточки шрамов тоже не от розовой молодости. С другой стороны, явная молодость проглядывала в ловком движении рук, в ясном взгляде и в голосе, не утратившем юношеские интонации. Лесник все больше нравился мне. С ним было легко, уверенно, безопасно, как с кем-то старшим, подобным учителю или брату-большаку.

— Сколько вам лет? — напрямик спросил я.

— Двадцать восемь...

— Так мало?!

— Какое же мало? Много... — отозвался он, сильно налегая на весло.

Теперь нас мотало так, что я почувствовал дурноту. Озеро взбесилось. Пена шматками летела через борт и нос. Заплескивало. Темная, словно дымная вдали, равнина Щучьего вскипала бегущими беляками, колыхалась вверх и вниз.

— Много лет! — не то в шутку, не то всерьез

повторил лесник, поворачиваясь на скамье. Лицо у него было мокрое, разгоревшееся, глаза блестя, фуражка съехала на затылок. Он стал гребсти наизворот, так же ловко и равномерно вращая весло.

— И так кажется — вечность живу. Может, вообще буду жить без конца... — Он улыбнулся, вытер лицо, слегка подгробал, помогая мне править лодку поперек волны.

— Ведь я не помню своего начала. А кто помнит? Не помните и вы, и никто. Не буду помнить и конца. Пока есть мое я — живу. Говорите — «мало». Двадцать восемь, а что я сделал? Галлию не завоевал, теорию относительности до меня открыли... Так... Пушкин умер в тридцать восемь... Лермонтов — в двадцать семь... В сорок три — Гоголь... Понимаете? Я узнал совсем недавно: Гоголь в сорок три! Я его старым считал. Но ведь они уже были Пушкиными, Лермонтовыми, Гоголями. Скажете — высоко хватил. Конечно... Это для примера... Так... Ну-ка, кто я такой, по-вашему, в свои двадцать восемь? Несчастный мазила? Неудачник? Инвалид на стариковской должности? Молчите? Так уж повелось — лесник, значит — борода, годы... Как вы думаете — оставаться мне тут навсегда? Вроде отшельника... Ах, романтики! Робинзон Крузо со Щучьего...

Лесник положил весло поперек бортов. Лодку качало, начало заворачивать. Вода хлестнула через наветренный борт, залила настил.

— Гребите! — сказал я. — Или давай весло.

Он повернулся на скамье, сильно и быстро поправил лодку и погнал ее упористыми взмахами — откуда бралась сила в его некрепких с виду руках.

Наконец, лодка зашла за мыс, волны сделались тише. Мы причалили возле кордона.

Почти тотчас лесник куда-то исчез, наказав поставить самовар. Я чувствовал сильную усталость и едва передвигал ноги. Умаяла вторая полубессонная ночь и весь непривычный городскому, изнеженному удобствами жителю режим этих дней в лесу, на вешнем холодном воздухе, от которого пьянеешь не хуже, чем от вина.

Лесник не возвращался долго, и потому я нехотя поел один, выпил чаю, прилег на узкую лесникову койку поверх стеганого красного одеяла.

Я не разделся, не думал спать, потому что не люблю дневной сон с детских лет, всегда он кажется мне противоестественным, болезненным и вызывает угрызения совести: день на дворе, а спишь. И все-таки незаметно заснул.

Пробудился в мягкой серой мгле. И приглядевшись, вставая, увидел, что лесник тоже спит на своей постели из кресел. За стеной и окнами шумом шумел расходившийся ветер. Иногда он усиливался и переходил в долгий ноющий свистящий звук. Брякало стекло, плохо вставленное в раму. И весь дом словно вздрагивал под чьей-то могучей рукой, сотрясался и поскрипывал, как корабль снастями. «Бууш... Бууш...» — была в берег волна, и вдруг я понял неясный смысл слова «бушует». Что творилось сейчас во вьющейся тьме над волнами поднятого ветром озера?.. Как черны, без меры дики были обступившие озеро ельники, как страшны, наверное, светло-аспидные облака, что спустились к самым волнам — и все смешалось: снег, дождь и мрак. Я представил себя одного, на лодке меж валов, увидел, как они зубасто, бело и злобно заглядыв-

вают ко мне, и это светлое, мертвенное так жутко, а лодка скачет, точно бешеный конь, проваливается в пучины и несется по ветру, медленно поворачиваясь, во мглу и дождь. Я вздрогнул.

— Погода-то! Что делается! — тихо сказал вдруг лесник. — Слышу: не спите?

— Не сплю. Думаю, как здесь живется...

— А-а... Не сразу и я привык. Привычка... Не изученное свойство человека. «Привычка свыше нам дана...» Ох, великое свойство... Иногда думаешь: много изучаем, природу, общество. Химия, физика, все такое... А себя? Много ли мы себя знаем? Это как земля, вот она, руками трогай, а какие-то километры вглубь и никто не знает, что там?... Лист на дереве и тот имеет свое назначение. Дышит, кормит дерево. Землю удобряет. А человек не лист... И что такое привычка? Свойство нервной системы, — скажете. Или качество. Одни привыкают — другие нет.

— Как сперва-то мне дико, страшно здесь было, — продолжал он, видимо, вспомнив мой полувопрос. — Само собой... горожанин я. В городе родился — вдруг в лес... С утра встану — ничего, радость даже, такое приволье кругом и я один на один с ним. А начнет к вечеру солнце клонить — такая тоска сердце давит. К людям хочется, ну, суетишься, бегаешь туда-сюда, чтоб отвлечься немного, а мысли все в город возвращаются. Там, мол, сейчас что? Не проходит тоска. Не проходит. Жутко. Лес молчит. Вода молчит. Небо немое, равнодушное... Есть я... Нет... Стоит лес и веточкой не пошевелит, если я исчезну. А страху в нем? Особенно ночами всякое... Шлепает по болотинам-то, в озере ухает, полощется. То обойдет избу кто-то. Прямо так и слышишь: туп, туп, туп, туп. Кто? Сова стонет и другие голоса. Черт знает, откуда они, кто так кричит? Непогодь разыграется, вот как теперь. И будто ты один на земле. Ноет, поет, свистит за окошками. Темь кругом... Лежу, бывало, в поту, как отходящий. А-а... Соскочу. Свет зажгу. Книгу схвачу. А самого трясет, зубы стучают. В кордон будто ломится кто, заглядывает в окна. Чуть с ума не сошел. Сколько раз клятву давал: только до утра. Дождусь утра и сбегу, пропади оно пропадом — Балчуг этот... Сбегу... И уходил даже. На свету соберусь, дверь подопру и — ходу. Отойду маленько, одумаюсь и обратно. Раз до Илима убежал. Вернулся...

Лесник завозился. Сел. Черный силуэт заслонил окно.

— Стал к лесу ближе прислоняться. Слушаю его, гляжу. Где какая птичка живет, зверек бежит... И страх этот дурацкий вроде бы отходить начал. Сперва бывало: дерево застонет — я за ружье. Косуля рывкнет — сердце так и оборвется. Ястреб закричит... А чего, спрашивается, боюсь? Глупость... Нервы. Совсем веру в себя потерял... Случай помог... Да, может, не интересно это все?

— Рассказывайте! — попросил я. Он помолчал.

— Как-то в августе, в самом начале... Около Ильина дня — это у меня от бабушки, я все посты, праздники знаю... Собралась тогда к ночи такая гроза — никогда не видывал. Туча чернющая, аспидовая. Потемнело все, померкло. Будто затмение сделалось. А ветер — ураган! Лес трещит, гудит, лопается там. Сучья сюда летят. Озеро, как молоко стало. И молнии полощут будто без грома, потому что сплошной обвал стоит, гул... Прямо снопами сыплется, сияет бес-

переж. Сижу я у стены, прижался, а самого всего колотит. Вдруг слышу: запело, заскрежетало что-то диким голосом, окошки распахнулись вдруг, стекла полетели. Выскочил я без памяти. Кирпичи сыплются! Гляжу, крыша-то встала на дыбы, и валится медленно так. А кругом что творится! Ливень, град, темнота и синий этот мелькающий свет. Ад какой-то! Грома не слышу. Оглух... Повернулось у меня в душе что-то, помутилось. Сорвал я рубаху, сапоги, все. Выбежал на берег — бух в озеро. Очнулся — плыву. Куда, зачем, не знаю, а плыву, грожу небу кулаком, воду глотаю. Вал за валом меня накрывает — плыву. Не знаю сколько так было, — вдруг чувствую: не тону ведь, держит вода, к волнам тоже приспособился. Набежит вал, я под него и опять вперед. Чувствую, сильнее я этого всего — и ветра, и воды, и грома. Что терять было? Жизнь-то мою? Подумаете, может, хвастает... Переплыл ведь я озеро. На берег вылез. Сижу голый. Дождь. Молнии тише. Только вал во всю хлещет, раскачалось... Отдохнул, укрепился и обратно. Еле назад-то выплыл. Совсем в темноте плыл, по молниям. Осветит — вижу в какой стороне Балчуг. Плыву. А когда стал за песок задевать, сил-то уж нет, выполз еле тут, у лодок, встать не могу, стошнило меня. Лежу на песке, смеюсь и плачу. Дурак дураком. Потом встал, одежду подобрал... Вот с того раза совсем я от страха выелся. Ночь-заполночь стал везде ходить, спать в лесу, краски привез, за этюды взялся. Даже будто по-другому видеть начал... Раньше, в училище, выезжаем писать на пленэр, на природу то есть... Разбредемся с этюдниками и выбираем красивые местечки, чуть не дерем из них... Ах, вот это моя береза! Ах, сколько цвета! Ах, ах... Невдомек было, что в пейзаже главное. Красоту же не глазом, сердцем что ли, чувством схватить надо — тогда глаз увидит. Почти ничего я в лесу не выбираю. Пишу как есть, как дышу. Тут все хорошо: каждое дерево, куст, вода. Сумей понять, когда она лучше откроется — красота, летом или по осени, в пасмурный день или, скажем, на зорьке. Сумей понять — не ищи цветных пятнышек... Можно, конечно, и пятном. Сейчас в живописи мода: лупи цветом, чтоб он орал, голосил, в глазах рябил... Мажь краску пастозно... Из тюбика пиши, под русскую фреску катая... Петров-Водкин. Икона-картина. Водкин Рублеву подражал, а мы... И получается: броско, ярко, останавливает. Души только нет. И, думаю, скоро отойдут от этого. Не лежкий фрукт мода.

Замолчал, поворочался, покашлял раздумчиво, огладил в темноте свою стриженую голову. Мне показалось в темноте, что он даже улыбается чему-то грустно и мудро, про себя.

— Сверчок со вчерашнего дня молчит... Чует непогодь, животина. Поди ж ты вот... Эка что делается. Ветер... Как бы опять крыша не поехала.

Слушали шорох и вой ветра.

— Хотите, расскажу, как сюда попал? Долгая история... Ничего? Только закурить дайте. Закурю...

Долго мял поскрипывающую сигарету, будто не решался. Чиркнул спичку — сломал. Снова раздраженно чиркал по коробку, в темноте поблескивал фосфорный затухающий блик. Прикурил. Огонек желто и трепетно осветил нос, забинтованное запястье, суровые глаза. Спичка медленно гасла, обожгла ему пальцы.



— ...Голова кружится. Опынел... Давно не курил... Я вам с самого детства. Ничего? Так вот, родился я в Нижнем Тагиле, на Гальянке — свобода такая за прудом. Тогда окраина была. Из ранних дней помню мало. Небо, поляна, двор, отец. Матери не знаю, — говорили умерла, когда мне было три года. Голубятня стояла у нас на дворе. Отец у меня железнодорожник был, машинист на маневровом паровозе. И голубей любил... Ну, а где он — я тоже. Все, бывало, на голубятне торчу. Она хорошая была, бревенчатая, под тесом, внизу амбар. Вот и лазаю я день до вечера по крыше, по коньку. С небом сроднился. На крыше мох подушечками, зеленый губчатый, голуби стонут, ветерок, солнышко в туче играет. Всю улицу тебе сверху видно. Тополя, дворы... И небо-то кругом — к северу синее, к югу светлее... Один раз заигрался я так, задумался что ли, оступился и упал. Не просто упал на землю, а на березовые кругляши — напилены были у голубятни дрова да не расколоты...

Как падал — сейчас помню: опрокинулось небо, перевернулись тополя... Ударился не больно. Тяну, тяну в себя воздух, а выдохнуть не могу. Очнулся — в больнице. Голова забинтована. Руками пошевелить не могу. Отнялись. Одни ноги действуют, двигаются через боль. Позвоночник повредил... Лежал там долго, больше года, в гипсе, в корсете и так. Отлежался все-таки. Руками стал владеть. Сперва только пальцами. Выписали. И началось у меня это... Гнет и гнет...

За одной бедой — другая. Отец в крушение попал. Тогда на новой Тагильской линии все время крушения были... Потом война. Голодуха. Как мы с бабкой жили — лучше не вспоминать. Картошка, овсяный кисель, мороженая редька... Бабушка умерла в сорок четвертом. Взяли меня в детдом. Было там лучше, кормили, учили... Воспитатели хорошие были. И вот один учитель, — по черчению он был, художник из неудачников, как я сейчас понимаю, — заметил, что я рисовать люблю. Стал ко мне приглядываться, работу давать. Потом стал отдельно меня учить, поправлять. Раньше-то я стенгазеты оформлял, графики разные, альбомы, дело не хитрое — нарисовал башню со звездой, ленты, в новый год ель со снегом, деда-мороза, — хорошо получалось. Ну, а он меня по-настоящему в живопись носом ткнул. В лес водил, этюды вместе писали, краски дарил...

Бывало, подведет к окошку. Смотрит, смотрит. Тронет за плечо: «Ленька, закат какой?» И верно, я уж понял. Тишина. Небо в гривах. Золотом отвечает... А под гривами-то розовым кажется. Розовым таким широким, светлым, северным что ли... Колокольни на этом розовом... Блещат вымороочно. И стрижи вьются, мелькают, падают. Тишина... тишина. Гляжу во все глаза. Хочется на бумагу это. Ух, хочется... А ведь просто закат. Сколько их? Все разные... Или идем где-нибудь деревней. Остановимся. «Ленька, баня-то?» А банька стоит кособокая, в крапиве потонула, с крыши доски торчат. Малиновые цветы. Иван-чай. Глушь, глушь... одичание... Диву даешься. Иной раз я не вижу, не могу понять, сердится, фыркает. «Глаза у тебя зачем?» Такой был золото-человек, Иван Степанов. Видеть-то он видел, понимал, а изобразить, школы ли, таланта ли не хватало... Бог весть... Уехал он вскоре.

Из детдома я прямо в училище. Поступил легко. Учусь. С охотой взялся. Кончу — мир удивлю! Там все так думают. Каждый сам себе та-

лант, хоть добрых три четверти потом в заводских художниках ходят, рекламы малюют. Наверное, не было меня прилежнее: надо по заданию один натюрморт написать — три дела, композициями, набросками все блокноты исчеркал, на хлебе с водой жил — деньги на краски... Только через некоторое время стали на меня преподаватели странно как-то поглядывать, да и ребята — тоже. Соберутся у этюда, стоят, хмыкают. Не возьму в толк, что им надо... Потом старичок один, Павел Никитич — перспективу у нас преподавал, — говорит: «Ты парень, не дальтоник ли?» — «Чего?!» — «Не дальтоник ли ты, говорю? Что-то ты вместо зеленого розовым луг пишешь... Ишь, импрессионист какой!» Тогда «импрессионист» вроде ругательство было. И тут цвета запутал. Тычет мне в картон. А я ничего не вижу — все правильно вроде. На ребят гляжу. Они кивают. Он прав... Как?! Тогда он сует мне в нос тюбики, на одном «Тиюиндиго розовый», на другом «Кобальт зеленый светлый». «Чуешь разницу?» А я разницу вижу не в цвете, а просто в оттенке. Цвет-то вроде бы одинаковый...

На комиссию послали. И точно: дальтонизм — путаю в оттенках красный с зеленым, зеленый с серым, с розовым. Для живописца — гибель... У живописца цветоощущение, как у волка слух должно быть, как вкус у дегустатора. Были, правда, случаи, некоторые французы работали, несмотря на дальтонизм, — учеников с правильным цветоощущением держали. А я? Можно бы, конечно, графиком стать, да не люблю графику... Живопись люблю, краски... Будто второй раз я упал тогда. Два дня на койке пластом лежал. Ни есть, ни пить не мог. Товарищи ободряли, жалуют, советуют. Да что они? Писать что ли за меня будут? Чужую беду — руками разведу...

Он потушил сигарету в пальцах, бросил к печи, глубоко вздохнул. Думал. Поскрипывал дом под напором ветра, шумело озеро. Слово бы немного посветлело, потому что теперь я видел согбенный силуэт лесника, его опущенную голову и широкие плечи. Снова раздался его голос. Он звучал печальнее, раздумчивее.

— И надо же ко всему этому... Девочка у нас в улице жила. Играли, на качелях качались. Потом как-то раздружились, пока я в детдоме был. И вот, встречаю ее на площади в Первое мая, после демонстрации — глазам не верю: красавица стала. Откуда что, была-то замухрышка, Буратино какое-то, а тут и ноги, и косы, и глаза будто не ее. Узнал с трудом... Как говорится — все есть: и ум, и образование. Встретились — обрадовались. И еще встречаться стали. Месяц, наверное, прошел. Самый мой счастливый месяц. Все будто к солнцу повернулось. Такая радость. Проснусь — боюсь глаза открыть. А ну, как сон это? Что тогда... А только обрадовался — и погасло. Заметил, что моя Оля суше как-то стала. Ходить со мной ходит, как раньше, а то помалкивает, то хмурится. Провожать себя до дому запретила. Раз едем мы с ней вечером в трамвае из кино, стою я, задумался, тяготит меня какой-то страх, предчувствие что ли. Гляжу в стекло, рожу свою темную вижу и вижу случайно — смотрит Оля на мою спину, а сама... Как бы это сказать... Не испуганная, нет... А вот будто узнала, что ей к зубному врачу идти. Больше я не стал ее встречать. Видеть видел, конечно. Пройду мимо, будто не заметил, и она так же. Тут меня совсем довело. Стал на все злой. Ужас... Говорят — горбатые злые. Правда отчасти. Но не

злее всех прочих... Это понять надо. Дни идут. Занятия не клеятся. Писать не могу. Все чудится — не тот цвет беру. Будто параличом меня разбило. Возьму кисть — рука трясется. Да на занятия, куда ни шло, хожу по инерции. А в свободные дни, в воскресенья, такая тоска — горлу тесно. Бредешь в город. Толпы по бульварам... Все вроде веселые, счастливые. Под ручку идут... И ты тут же, как пария, как шут гороховый. И смотрят, смотрят! Кто с жалостью, кто с любопытством, кто с презрением даже. Иные, правда, словно не замечают, боятся взглядом даже обидеть. Эти — лучшие. А мне уж все равно — и жалость эта, и любопытство, понимаю, — не виноваты люди, что смотрят на меня. От природы так: все хилое из жизни вон... Приду в общежитие, брякнусь на койку. Зареветь бы — слез нет. Поможет что ли? Кабы помогло... Боялся: с ума сходить начну...

Пошел как-то в баню, в субботу. Иду это, вывернулся за угол — улица там резко к вокзалу поворачивает, вижу лошадь из ворот выезжает. В это время вылетает из-за поворота «Победа». Лошадь-то в оглоблях, попятиться не смогла. Машина дальше, а кобылка головой трясет, вся морда разбита, зубы вылетели. Трясет она, бедная, головой, смотрит слезами. Кровь с морды шурами льет. А мужичонко-то, возчик, схватил кнут да по лошади-то. Хьяк! Хьяк! По глазам, по бокам...

Что-то сделалось со мной — света вроде не вижу. Бывает у меня такое. Бросил бельшишко. И так я тогда возчика избил — чуть не до смерти. Толпа отобрала. В милицию меня... Спасибо, начальник попался хороший. «Тебя, говорит, за хулиганство такое судить бы надо... Но посмотрел я на всю твою жизнь и советую — поезжайка из города. Есть у меня один адрес... Хочешь лесником на кордон?»

Мне все равно было. Ответил:

— Хочу.

Написал он записку, позвонил, и пошел я устраиваться... Вот я и здесь...

Лесник снова лег, но не спал, кашлял, поворачивался с боку на бок, так что стонали пружины кресел.

Было совестно тревожить его, хотя и видел — лесник не спал. Кто его знает? Может кажется уже, что раскрылся перед незнакомцем. Часто-часто за непрошеным откровением приходит и злость на себя и стыд. А все-таки... Невыносимо, наверное, жить одному на этой дикой островине среди болот...

«Вот где нужен человек — человеку, — думал я, глядя в сумрачное окно, словно бы смотрящее за край земли в слепую пустоту и мглу. — Знать бы, что он есть — этот человек, где-то тут, поблизости, спит, дышит, может проснуться, встать, поговорить, вместе испытать страх и тревогу, вместе успокоиться. Как много-много, когда близко есть человек!» И скорее не мне, другому, может быть, некой неведомой женщине была эта лесникова исповедь, накопленная годами вынужденного молчания и тоски.

Прошло не менее получаса, пока лесник заговорил:

— Понимаете, как это... вот я человека избил... и мутрно другой раз... А люблю я все живое, все-все на земле! Даже вот филина люблю, каждое его перо, глаза, когти... Чудо ведь, чудо лесное! Дремучесть какая! И жизнь у меня счастливая. С тех пор, как со страхом расстал-

ся... живу и жду... Каждый день жду. С зорьки дотемна. Что-то день мне принесет? Чем обрадует или опечалит?.. По весне жду дождика... Застучит в окно — будто гость пришел. Бегу глядеть, мокнуть. Выскочишь на крыльцо — тучи какие теплые — раздольные, цвет какой! Горы в тумане, в дожде. Вечером дышит. Пасмурно, тепло. Всякая букашка оттаяла. Кулик свистит. Косачи урчат, лягушки лают. Весна... А летом? Мать моя, гляньте-ка, что у меня тут летом! Выводки пишат, каждая птичка у своего гнезда возится. Лилиями озеро зарастает, хоть ходи по листьям. Утром они открываются... Волшебство! Вода — арбуз разрезанный. Свежесть какая! Солнце не встало. Восток полыхает и алым, и синим. Золотым горит. Рыба ходит. Круги везде. Мошкара толчется, жучки играют. Сидишь в лодке-то, во всей этой благодати, бьешь комаров и молишься, даром, что неверующий. Господи, думаешь, хорошо-то как! Ельник на том берегу — чистый ультрамарин. Березы здесь — сиреневые. Стекла избы огнем играют. И трепещет душа... Обнял бы землю, целовал, ласкал. До чего хорошая, родная, славная. Как жить хорошо...

Приподнялся. Сел. Продолжал с какой-то радостно-тоскливой нотой.

— А осень-то забыл? Осенью лес!.. Одни осины, березы — сердце ломит. Где же такую красоту захватить, чем остановить? Сюда повернешься — хорошо, сюда — еще краше, лучше. Сколько всего на земле, подумаешь, великого, красивого: и леса, и деревни, и девчонки, и океаны... Подумаешь, зачем я родился на короткую жизнь? Жизнь-то у нас слишком малая. Глупо... Да и ту как губим бессовестно — прокуриваем, пропиваем, убиваем себя... Не в том дело, конечно, чтоб дольше прожить, а в том, что завязаны у нас глаза на красоту: глядеть глядим — видеть не видим. Как слепые ходим мимо красоты. А хоть и видишь... Вот сижу однажды за этугод, осенью. Ветреный день. Шумит все, шумит... Солнце сквозь тучки плачется. Небо в синь... Тихая такая синь, грустная. Жаворонки: вверху отлетные: юр... юр... И береза по ветру шумит, переливается, будто золотыми слезами... Летит с нее золото, летит. А я не могу ее краской взять. Не могу, и все тут! Там мазок, тут мазок — там хвачу, тут хвачу... Откинусь... Нет. Не получилось. Не поет мой этюд, как надо бы петь, чтоб все в нем было: и грусть эта небесная, и предзимний холодок... ветер...

— А первый-то снег! Да удайся он мне! Напиши-ка я хоть огородишко, как есть: прясло в снегу, репей, щеглишек на нем... Плачу другой раз. Просто сижу, реву. Почему не далось в полную силу цветом владеть? А? Я бы... Помните, Клод у Золя писал женщину — не мог остановиться. И понимаю, женщина — та же природа, та же земля... Ну, давайте-ка спать, наговорил я тут, наболтал, — вдруг конфузливо сказал Леонид, быстро лег и умолк совсем.

А я еще долго не засыпал. Сон не шел. Мешал непривычный шум ветра и озера и та мгла, которая стояла в горнице, никак не похожая на городскую, плотная и враждебная мгла, которой самое точное название — мрак. Казалось, навечно одела ночь землю, и этот мрак не рассеется, не придет рассвет. Я раздумался о земле. Вдруг представилась она перенасыщенной, задыхающейся от угарного газа, с отравленными реками, зараженным океаном и вырубленными лесами. Я увидел ее сплошь распаханной до по-

следней ямы, окультуренной так, что само слово природа не понятно живущим. Стало страшно и душно, будто все это уже случилось... А где же на той земле вдвой запах осенней полыни, опушки с вольно разбежавшимися осинками, покосы, родниковые речки, чмокание соловья в черемухах, и добрые старые дубы—вековая память и печаль, от одного взгляда на которые дрожит и трепещет русское сердце? Где степь с тягучими звонами жаворонков, их россыпями и переливами в солнечном небесном зное, бесконечно величавая равнинушка, глина оврагов, свист сусликов, шорох трав и ленивый полет орлов? Где спокойные реки под ночным закатным заревом, когда оно отражается в них вместе с тучами, звездами, парходными огоньками, бакенами, ночными туманами, всем своим матовым, синим, лиловым и розовым переливом, всей тайной и глубиной?..

Однажды я видел такую реку. Ночной поезд шел бесконечным мостом через Волгу, и под ним в туманах, былинной седине и мгле лежала вечная река. В ней было столько ровного спокойствия, бесконечной наполненности, простора и тишины, что я подумал тогда—она как Русь, весь русский характер в ней, и не будь ее на Руси—у нас не было бы Пушкина, не родился бы Толстой, не было бы, наверное, ничего великого, чем мы горды до гроба, и разве не связаны с ней неразрывно те имена, что всегда живут в нас...

Долго грезились мне еще какие-то чистые леса, облака, березняки, дожди, порывы ветра в полях, какие-то корабли, волны, острова, бега...

\* \* \*

Проснулись под утро. Вышли поспешно. На крыльце, в огороде и на берегу—езде лежал снег и оттого было светлее, чем в прошлую ночь, пахло снегом, освеженной, остуженной ночной землей. Этот запах был мягкий, растерянный, чудилась в нем близкая оттепель, весеннее вольное тепло. Ветер то падал, то задувал отчаянно, и тогда впереди в лесу что-то кричало, охало, стонало. Озеро бушевало с протяжным гулом. Я оглядывался на этот шум. И все старался как будто его понять.

— Стихнет к утру,—долетел голос лесника, шагавшего с фонарем впереди.—Ветер перерывами пошел... Сверчок заскрипел... Слыхали сверчка? Тепло будет...

Он зашагал еще увереннее и так скоро, что я едва поспевал по ночному болоту, спотыкался, проваливался меж кочек и тогда под сапогами вздыхало и чавкало и оставались сзади черные ямки—следы. Припорошенное снегом, болото до самого леса было мрачно-светлым, зато небо теперь нависло темной пучиной и лес стоял впереди, как угольный. Редко в прогалах обозначалась звезда, плыла и скрывалась боязливо. Ветер сильно подпирал спину и все глуше, тише становился шум озера, пока совсем не смолк.

— Хорошо... Такая погода. Не пойдет Санька через озеро... Побойтся. Сюда кинется... Говорили мне на станции,—грозились всех глухарей выбить. Назло... Мне, значит... Прошлый год, весной, я у него ружье отобрал, косую стельную он убил... по насту загнал. Штраф заплатил. Только зря... Вернули ему ружье в лесничество. Доверие, мол, к человеку нужно. Вот доверие... Доверяй такому. Сами видели, чем оборачива-

ется. Доверие... Вот, скажем, волку можно...—и он еще что-то говорил, там, впереди, но ветер уносил слова и было непонятно.

Мы вошли в шумную лесную мглу. Лесник нырнул где-то впереди, искал тропу. Он нашел ее быстро, и мы двинулись по ее извилистому узкому лотку, слегка присыпанному ночным снежком. В лесу снегу было меньше, стояла неясная мгла на даялах, слитая в неразличимую тьму. Но чем больше вглядывался я в нее, тем она была цветнее, проступал то сизый, то сиреневый, то фиолетово-синий цвет. Тропа пошла березовым лесом призрачно белым, и стало светлее, но все еще ничего невозможно было разглядеть из-за хлестких веток, которые неожиданно и больно стегали по лицу.

Я шел, выставив вперед ладони, зажмуривая и открывая глаза, и вдруг наткнулся на спину лесника, смутился. Он стоял, потушив фонарь, и слушал. В стороне явственно топало, шелестело...

— Браконьеры?

— Не-ет...—лесник еще послушал.—Лоси... Их тропа... Я еще раньше их поднял. Пара. Возле Балчуга, как привязанные. Бык старый, лет десяти будет. Корова молодая... Трехлетка, не больше. Узкие копыта. Прошлый год яловая была. Опять ходят вместе. Берегу их... Сено на зиму подкашиваю в болотинах. Рогач-то на меня бросался осенью. В сентябре дело было... Самый у них гон. Идет он по просеке, ревет страшно. Я и не поберегся, вышел, думал, побежит сейчас... А он фыркнул, нагнул башку—как двинет ко мне... Еле увернулся. Стрелять вверх пришлось—тогда отстал. Такой зверина... Шерсть дыбом на загривке, глаза горят, топочет ножницами,—в голосе лесника слышалось уважение.

Еще через полчаса, когда небо уже начало томиться предутренним мороком, мы вышли на широкую прогалину—не то елань, не то покос—кругом в высоком молчаливом ельнике. За ельником белело. Где-то близко булькала речонка. И мы оба заслушались ее холодным наговором, переливом. Буль-бли, буль-бли,—доносилось со спокойными ровными перемережками.

— Тут!—шепотом протянул лесник. Фонарь он давно погасил и теперь осматривался, слушал—даже фуражку снял зачем-то, бесшумно переступал по сырому снежку.—Рано. Пока гости не подошли—затаимся.

Он надел фуражку. Мы сошли с тропы в еловое колючее мелколесье. Елочки потревоженно роптали, хлестали упругими ветками.

— Посидим, колодина вот...

Смели снег, присели на толстый сырой ствол. Невдалеке, в кромке поляны что-то завозилось, раздавалось ворчливое бормотание.

— Глухарь!—дохнул в ухо лесник.—Первое время, не поверите, я даже боялся их, черт знает... Допотопен. Звуки эти. Чудо. В лесу всегда так... Сильно лес на душу действует...

Понизил голос почти до шепота.

— А как вы думаете, может я дальтонизм своей осилю? Вы смотрели работы... Как там? Цвета правильные?

Что я мог сказать? И он тотчас понял.

— Стойте! Не надо. Сам знаю... А-а... Если б осилить... Если бы... Замечаю, когда вглядываюсь резко—вроде правильно вижу, все тона. Табличку такую себе для сверки написал. Ухитрюсь. Глаза только колет. Осенью, бывало, до того допишусь, слеза идет. Я в город вернусь, когда силу почувствую. Такую силу, чтоб написать кар-





тину. Весна, скажем... Или снег... И чтоб всякий перед картиной этой, как перед весной — шапку вниз — стоял, самый равнодушный... Чтоб задумался, оглянулся: «Как живи?» А? Чтоб душа-то... Стой-ка! Идет! Или кажется?

Он привстал с колоды, медленно распрямился. Тишина рассвета была глухая, если б не речка... Но вот и я услышал шелест.

— Идет!

И тут же глухарь, сидевший где-то близко, в елях щелкнул первый раз. Так... Светлело. Голубое, зеленое, оранжевое стало раскрываться в тучах над ельником, будто расширилась там во все небо невиданная радуга. Пробежал вершинами, сник, упал в глубине последний ночной ветер. Ночным голосом простонала за ним надломленная лесина. А глухарь уже бормотал, скрежетал своим жарким, задышающимся шепотом. Вот издали странный кашляющий звук покрыл его костяным щелканьем — и снова тот же трясущийся шепот.

Дважды шумело слева.

— Скачет! — пробормотал лесник, весь собираясь в ком.

— Нател! — вдруг сунул мне в руки свою «жижку», полез из елок.

Глухарь токовал. Шорох приближался. Я встал на колоду, всматривался в синеву меж стволами, пытаюсь уловить движение и, наконец, заметил. Темное двигалось наискосок в направлении глухарини песни. Двигалось и пряталось, замирая. И совсем бесшумно, короткими перебежками уходил туда лесник. Все походило на какую-то хищную игру. Вот темное стало за дерево. Вот мелькнуло под песню. Раз-два-три перескочил и лесник. Снова темное двинулось. Теперь я не видел ни незнакомца, ни лесника — оба скрылись в подлеске, у опушки. Я держал в обеих руках по ружью, не знал, что делать.

— Стой! — загремел голос лесника неожиданно звонкий.

Мгновение было тихо, потом грохот большой улетевшей птицы и голоса, спорившие быстро и хрипло.

— Уйди, сука...

— Сдавай ружье!

— Не подходи... Не подходи!

— Сда-ва-ай!

— Уди с добра...

— Убью! Ты...

— ...

За деревьями что-то происходило. Я услышал возню, удары, брань и хрип борющихся людей. И вдруг жутко-оглушительно лопнуло там, хлестнуло по веткам. Не помня себя, запинаясь, я закричал и побежал туда, выскочил на проталину и увидел лесника с поднятым ружьем, а рядом пригнутого, оскаленного по-волчьи, взъерошенного и страшного с руками до земли.

Увидев меня, человек растерялся, выпрямился, тяжело дышал, искал глазами сбитую шапку. Это был он, вчерашний лобастый незнакомец, я узнал его сразу даже в рассветных зыбких сумерках.

— Не имеешь права... Я не стрелял ишо... В суд подам... — бормотал он, подбирая кепку, отходя.

Лесник молчал, дышал загнанно, вертел отобранное ружье.

— Отдай, слышь! Боле не приду...

— Иди себе...

— Не отдашь?

— В озеро брошу!

— Не имеешь прав. В живот пнул! И следовательно заявлю...

— ...

— Отдай ружье. Хуже тебе будет!

— Проваливай, — лесник открыл ружье, достал и бросил в снег патроны.

— Не отдашь?!

— Иди себе...

— Ну, погоди, погоди, сука горбатая... Я тебя... Ммы тебе... — лобастый дернул кепку за козырек, натягивая ее глубоко на уши, быстро пошел прочь.

— Эй! Стой! — белея лицом, загремел лесник. — Видишь? — он поднял ружье ложем вверх. — Вот!

С этим словом он изо всей силы хватил тулкой о ближнюю березу. Раз, два, три... Хряснула шейка, отлетело цевье, стволы жалобно трывкнули и разъехались.

— ...Вот так и живем, — сказал он, когда я подписал канцелярский бланк протокола. — Спасибо, вы подружились... Одному бы... Он права знает. А теперь пусть поохотится, пускай.. В суд подаст? Не посмеет! А-а... Хрен с ним, пусть подаст. Может, вы подтвердите, что не с добра он ружье отдал?

Первый раз я увидел, как лесник смеется. Связал искалеченное ружье погонным ремнем, принял от меня свою одностволку, потоптался, оглядывая поляну, улыбнулся, показал в сторону. Вдали, у речки, токовал глухарь.

Мы вышли на тропу, а лесник все улыбался, дергал головой, поправлял фуражку.

— Провожу до трассы, — говорил он, шагая рядом, отводя ветки свободной рукой. Глядел по сторонам... — Заказник бы здесь, какой ни на есть... Лет на двадцать бы, а? А то заповедник... Ведь лес-то!..

На широкой высоковольтной трассе остановились. Плечистые опоры ушагивали по увалам далеко за синие хребты. Потрескивало, гудело в линии, в провислых проводах угадывалась неведомая сила. Сама трасса уже начала зарастать березовым прутнячком, осинками и кустами вербы, выбросившими на сухом месте поздние сережки. Яркий соснячок топорщился везде, напористо лез между черных пней и серых валунов, кое-где выстулавших из земли. Везде таял ночной снежок и мягко пахло им и водой, сочившейся с камней, мягко проглядывало солнышко, еще не теплое, но уже сулившее близкую радость. Свистел, поскрипывал на вербе снегирь. Все было так, как всегда бывает в переменные дни весны, когда тепло борется с холодом, дождь с солнцем и когда веришь, вот-вот оно пересилит, проглянет, одолеет, и земля надолго станет сухой, теплой, счастливой.

— Ну, прощайте, — говорил лесник, пожимая руку своей сухой холодной ладонью. — Много словен был... Извините... Намолчался. Может, летом соберетесь, приедете... Рыбачить будем. Щук на дорожку. Комаров здесь, правда, много. Зато грибов, ягод... А то пишите, как жизнь. На Илим пишите, леснику. Я за почтой в неделю два раза бываю...

\* \* \*

С тех пор получил я от лесника два письма. В первом он просил выслать объяснение в лесничество из-за отобранного ружья.

«А то меня за самоуправство под суд грозят. Санька повернул дело так, будто мы на него

вдвоем напали, чуть ли не ограбили. Ружье-то его я в лесничество снес, как вещь-ценность представил. А мне лесничий говорит: «Почему сломано? Не имел права ломать. Платить, мол, будешь». «Он сопротивлялся!» «А глухаря-то он убил?» «Нет, не убил!» «Ну так что ж ты,— говорит,— маленький что ли? Нападение. Подсудное дело. Улаживай, как знаешь». В лесничестве меня не любят. Много хлопот со мной. Без хлопот-то ведь жить легче. В общем, все это обойдется как-нибудь. Не в том обида. Опять он сухой из воды выходит».

Писал он, что у кордона появился выводок волков и надо ждать снегу, чтоб выловить их капканом. Про свою жизнь сообщал скупко: «Работают. Этюды давать некуда. Тренируюсь на цветоощущение. Приехали бы, поглядели...»

В другом письме попросил выслать коробку белил. В конверт была вложена трехрублевая бумажка. После писем не стало, хотя я ответил на каждое. Лесник молчал. Станный человек. Не то обиделся на что, не то просто забыл. Сам я годами не писал письма, просто вспоминал о них перед большими праздниками. Да и со сколькими людьми в жизни сходишься, за одним столом пьешь, живешь подолгу, а расстался — и забыл, и тебя забыли, даже имя выветрилось навсегда. Так думал я, когда вспоминал Балчуг и те короткие дни в гостях у лесника.

Я собрался на Балчуг лишь через год, в конце сентября. Светало, когда я сошел с проходящего поезда на Илеме. Часа через три мутной ходьбы по разбитой и грязной лесовозной дороге я вышел на трассу в том самом месте, где мы расстались. Присел отдохнуть на окатанный временем и дождями валун.

Когда я сижу на таких огромных камнях, мне всегда почему-то вспоминается земля доисторическая, я думаю о ней, представляю, какие тогда были дожди, ветры, грозы, какие звери бродили в лесах. Может быть, рыжий лохматый мамонт заходил на эту горюшку, стоял тут, касаясь камня хоботом, обдувая его теплым утробным дыханием, может быть, лежал на полуе пещерный лев, желтыми умными глазами следивший за стадом зубров, или сидел на камне мой дальний прапрадед, отдыхал и трогал на палец кремневое лезвие надежного копья. Много мыслей вызывает широкий обомшелый камень. Во впадинах на его поверхности кое-где уже скопилась серая земля, перегнивший мох и лишайник — тут уже поселились травинки, растет лаковый брусничник и даже ягодки есть, бурые, мелкие и твердые. Идет жизнь. Вот и березки на трассе подросли, поднялись, сквозят ярко — свежим желтым листом, и повыше стали ершики сосен.

Тишь и безветрие держались уже которую неделю. Земля томилась перед снегом, ждала первой восточной зимы. В пустом лесу слышны были одни синицы. Они пищали и цвенькали, возлились в кустах.

Высоко-высоко, то растягиваясь почти в линию, то сдвигаясь в строгий печальный угол, в лад и мерно качая крыльями, пролетели гуси, и я следил, как они удаляются, теряясь в сырой холстине неба.

«На Воздвиженье птица в отлет двинулась», — вспомнилась присказка лесника. Все-таки весь год и сейчас я вспоминал его, поджидал письмо, потом уже не ждал, но подумывал, как снова выберусь сюда, и все вспоминался дикий заброшенный Балчуг, старые березы у горелого сарая,

сырой песок берега, лодки, озеро и дальние леса за ним. Я представил лесника, как он бродит сейчас где-то по Истоку, как открываются ему виды, один другого лучше. Мне даже виделось, как лесник сидит с этюдником и, досадливо морщась, осторожно берет с палитры тон, кладет, откидывается, смотрит с обычным своим печальным вниманием и слушает тонкое фисканье пеночки, шныряющей в черемухах у воды. А может быть, просто сидит на берегу, на перевернутой лодке, сгорбился, опустил козырек фуражки, глядит на озеро, на пересыпающиеся над волнами стайки птиц.

Мне захотелось скорее добраться до Балчуга.

На дороге в коричневой грязи, на поверхности луж и на молодых елках, — везде цветисто и щедро желтели, голубели светлые и темные, свежие и жухлые листья. По всему лесу сильно пахло. Пахло листьями, сухой полянкой, землей, отдавшей лету свою предвечную силу, осенним туманом, севшим в траву, последними грибами, последними муравьями. Изредка по лесу прокатывался выстрел. На мгновение замирало все, вздрагивало, прислушивалось. К полудню стало посвечивать, ненадолго расплзлись облака, робкое тепло тронуло захолodelые опушки.

Снова бумкнул выстрел — эхо откатилось и просторно повторило его: раз-два-три...

В стороне послышалось садкое теканье топола. Кто-то хозяйственно, сноровисто тесал им. Зашуршали кусты. Из подлеска навстречу мне выбежал рыжеватый пес с желтыми подпалинами, желтыми точками над глазами и вислыми ушами. Он залился злобным гончачковым брехом, опасно встал. А вслед за собакой на тропу вышел прихрамывающий мужичок, загорелый и давно не бритый. Лицо его, маленькое, треугольное с круглыми глазами лемура и крохотным поджатым ртом, выражало озадаченное недоумение. В руках мужичок держал плотничий топор, морозно блестящий по отточенному лезвию.

— Здорово... — приветствовал он. — На охоту, что ли?

— К леснику иду на Балчуг, — сказал я и посмотрел на его топор — К Леониду...

— Вон-она! — протянул мужичок. — К горбату-му! Дак его нету... Год уж почти, как схоронили. Приказал долго жить...

— Как?! — вырвалось у меня.

— А этак... Проходите, однако. Посидим, расскажу. Пшел ты! — махнул он топором на собаку, глухо ворчавшую у его ног.

Он повел меня на порубь. И я машинально побрел следом, все еще не понимая, отказываясь поверить, что лесника уже нет. Слова, так просто оброненные мужичком, не укладывались в сознании и даже глупая мысль: «Что-нибудь тут не так...» — слегка успокаивала меня.

На поляне, среди свежих пеньков, щепы и корья лежали разделанные, ошкуренные брезна. Кучи белесого торфяного сфагнома сохли возле.

— На баню лажу, — мужичок кинул топор в янтарное, тихо звякнувшее бревно. — Садитесь, — пригласил, сметая щепу и сор с толстой еще не ошкуренной колоды. — Вот туда можно...

— Папиросочка-то есть у вас? — прищуриваясь, неловко-осторожно выловил сигарету прокуренными желтыми пальцами, неловко запалил, двигая верхней губой, уселся рядом.

— Как получилось-то? — продолжал он, затягиваясь и отирая рукавом слезящийся глаз. — Давно не курил легкого табаку... А так... Горба

тый-то парень быстро настырный был. Вы ему не родня, случаем? Не сродственник? Нет? Ну, дак вот... Он ведь взнику никому тут не давал. Оружие у браконьеров отымал, сети, лодки у рыбаков. И все один. Сам. Бесстрашной был на удивление даже. Лес стерег крепко, ничо не скажешь. У него, брат, ни порубки, ни охоты в запрет, ни боже мой! Найдет, все одно найдет. Как будто чует... Прямо вот из-под земли явится. Документики? Ага! Стоп... Сказывали люди: отымет ружье — шварк об лесину. Потом хоть бери, хоть не бери... Да-а... А тут в Сорокиной у нас браконьеры лихие. Охотой промышляют с таких вот годов. Самой-то основной Санка Бударин да Масленниковы братья. Ну и другие. Я сам-то из Сорокиной. Ну, вот... Да... Отобрал лесник у Санки ружье — новехонькую тулку. Сто двадцать рубликов плачено. И не отдал. Сказывали, разбил. А потом у другого его дружка, у Мишки Масленникова, этак же... Скараулил в общем. Ну, вот... Да...

Задумчиво отряхнул пепел гребнистым ногтем, отерев глаз, продолжал:

— Оне озлобились на его, ясно. Ребята отчаянные. Сиделые не по разу и пьяниси, прямо сказать — лакаголики... Ну, вот, да... Под зиму по крепкому снежку Санко с Мишкой завалили лося с лосихой. На Екатерину никак было... Только озеро встало. Ну, сохатый, сам знаешь, какой, не козел, в мешке не унесешь. Санко-то с Мишкой и стали мясо тихонько возить на Илим, на станции продавать за коровье. Оне в этом деле ловкачи-ребята. Мишка Масленников как-то рысь убил, дак мясо-то продал за телятину студентам каким-то из партии... На станции жили, руду искали. Ржал потом, сказывал мне, шибко мясо-то им поглянулось, прибежали, мол, нет ли еще... Ну вот... Да... Убили, значит, оне лосей-то. А лесник в обходе был, сразу и нашел по следу. Мясо-то нашел. Ему бы в деревню, али куды в лесничество за свидетелем, а он и не заявил даже никому, отчаянная головушка. Остался ждать. Приходят оне за мясом, а он и тут. Стой! Санка видит — деться некуда. Вина большая... Хлесть в его почти в упор, в лесника-то. Ну, вот... Да... Мишка-то Масленников, что с Санком-то был, перепугался... бежать. А Санко, видать, заметил, что лесник живой, да еще в его раз... И чтоб б ты подумал, мил-человек, успел ведь он, горбач-то, поднять свое ружьишко. Санко бежать, а тот в его хлесть — и наповал... В самую маковку ему жаканом угадал... Во как! Ружьишко негодящее было, не охотник был, а угадал... Случаем, не иначе. Мишка Масленников бежит, потом одумался, воротился взад-пятки, дак сказывал, лесник-то

еще привстал, к ему пополз, хрипит, кровь изо рта булькает, а кулаком грозит. Во какой сурьезный был. Мишка-то на деревню прибежал, лица нету, белехонек. Повинился. Народ туда. Видят, Санка убитый валяется. Голова разворочена. А подале горбатый лежит, прижался, сказывали, к земле, будто слушает ее.

Мужичок бросил окурок, плюнул, затоптал и, подняв реденькие брови, рассудительно продолжил:

— Тут, на кордоне-то, никто сейчас не живет. Кто сюда на зиму поедет, волков слушать... Не больно народ на такие места зарится. Все давай работу полегче, чтоб тяжеле карандаша ничо не подымать. Ну вот... Да... У лесника, видишь, родни-то никого не оказалось. Правда, и имущества тоже одне картинки. Художник парень был. Все кого-то пишет, пишет... Жалко его, конечно. Такие люди в редкость. У его и хозяйства ничо не было. Кошка только. Кошка-то долго там жила. Ждала его, что ли... На дорожку все выбегала, мяучила. Филин еще был. Старики говорили, раньше филинов одне колдуны держали. Не к добру это — филинов держать. Может, он ему и наворожил. Да-а... Нук че, может, еще закурим?.. Вот спасибочка, надоела махорка, а на станцию недосуг съездить. Да еще приедешь — лавка на замке. Часто так бывает...

Помолчал, курил, следил, как дымок тает в теплом вечернем воздухе. Я тоже молчал, онемел, опечаленный как нельзя более.

— У меня, видишь, семья, внуки. Сам, можно сказать, инвалид. В трудармии ногу лесниной раздавило. Лес мы в войну резали... Прирабатывать приходится. Я, видишь, плотник, дак когда избу кому срублю, баню, амбар... Санко тут главный был, теперь его нету, дак легче. Да и то сказать, некого теперь в лесу стрелять стало. Скоро последний зверь — птица нарушатся. А раньше бывало че: косачей этих, глухарей, куликов, пига-лок разных, уток этих. Яйца утинные, бывало, корзинами собирали. А теперь все куда-то деватся... Поди, возьми картины-то, — закончил он, подымаясь с бревна.

Мы прошли в гнилой обгорелый сарайчик, худая крыша которого насквозь просвечивала. Тут в полутьме среди сенных вил, граблей, старой сбруи и банок с дегтем были прислонены и разбросаны покоробленные дождем и снегом этюды. Я брал один, другой, третий, — все они были безнадежно испорчены: картон вздулся, размок, краски отслоились, местами осыпались до грунта.

Взял самый маленький картон, наиболее уцелевший — осина, тихо шумящая на ветру.





# ИЗ НАШИХ ДЕНЬ

Николай НИКОЛАЕВ

**Н**у и отряха же твой приятель, — сказала бабушка, сидя на крылечке. Она наматывала шерстяную нитку, чтоб связать мне новые рукавички.

— Какой приятель? — насторожился я, держа в расставленных руках веретено. С него раскручивалась пряжа.

— Известно. Васька Кирпатый.

— А что он?

— Да уж добром не кончит. Либо башку свернет, либо калекой останется. Стою, надысь, у колодца, а его лихоманка занесла на са-а-мую маковушку карагача. Сидит там на ветке и качается. Я кричу:

— Слезай, басурман ты этакий!

А он, знай свое: «Ай-ды! Ай-ды!» — того гляди, хрупнет ветка... Ох, и неслухмяный, безотцовщина! Неспроста и конопатый такой!

— А при чем тут конопушки?

— Да при том: сову узнают по полету, а Савку по свитке. Рушил, пострел, птичьи гнезда, брал яички. Вот с них и перешли конопушки на Васькин поганный нос.

У меня зарябило в глазах. Веретено прыгнуло из рук. Котенок, что вертелся у ног, зашипел, хвост штопором...

Стою, слова сказать не могу. Вчера и я брал яйца сорокопутки. Васька даже предлагал выпить их, уверял, что от этого голос певучий будет, как у птиц. А на яичках и впрямь — темно-коричневые пятнышки, точь-в-точь, как Васькины конопушки.

— Ба... ба... — пытаюсь говорить.

— Что случилось?

— Го-орло пере-сох-ло...

— Ступай в чулан, взвару налейся.

Заскочил я в курень, приоткрыл на окне занавеску и почти прилип к зеркалу. На меня смотрел рыжий, вихрастый парнишка с круглыми, испуганными глазами. На самом носу и на щеках выделялись несколько каштановых крапинок.

«Появляются», — подумал с ужасом. Помочил крапинки слюной. Тер рукавом. До боли жал. Не помогло. Значит, и у меня «поганный нос» будет, и во всем виноват Васька. Вот дурак-то, послушался приятеля!

Метался я по комнате, ничего не мог придумать...

С тех пор я не разорил ни одного птичьего гнезда, пальцем к ним не дотронулся. Других от этого отговаривал. Не помню, когда и как лицо мое посветлело, очистилось. Но меня мучил вопрос: «Правда ли, что конопушки от птичьих яиц?»

**КОНО-  
ПУШКИ**



Снова спросил бабушку. Она посмотрела на меня сквозь очки, загадочно так улыбнулась, потрепала за вихор:

— Дурачок ты, мой милый! То я говорила тебя жалеючи, чтоб по деревьям не лазил, руки-ноги не повываламывал. А конопушки — они сами по себе. Весной появятся, а к зиме — фить!.. и нет их.

## ЩУКИ-САМОУБИЙЦЫ



**П**о хуторской улице брели босиком вихрастые мальчуганы. Обливаясь потом, они едва волокли на железной проволоке десятка полтора щук.

— Как вы их наловили? — удивился я.

— А никак... — отвечают, приостановившись и тяжело дыша.

— А все-таки?..

Рыженький, что постарше, отирая взмокший облупленный лоб рукавом, размазал грязь по лицу.

— Не ловили мы их, сами, скаженные, сигают на берег. Вон пускай Гешка скажет, если вру.

Меньшой утвердительно кивнул.

Перебивая друг друга, ребята рассказали, что на «четвертом колене» от наплавного моста можно нахватать щук, сколько душе угодно. Без удочек. Однако нужно не зевать. А то за воронами не поспеешь.

Я был озадачен.

Усталые, но довольные пареньки понесли добычу, как-то странно поглядывая на меня.

Верить им или не верить?

На следующее утро я был на «четвертом колене». Берег там отлогий. Вода вдается в низину, образуя небольшой заливчик. Земля сплошь покрыта, будто ватой, сухим, выцветшим куширом, оставшимся от половодья. Недалеко от воды суется стайка ворон. Издавая гортанные звуки, птицы что-то вырывают друг у друга.

Размотал я удочку, забросил поплавок подальше от берега, а сам думаю: «Ловко меня одурачили мальцы. Теперь, небось, вспоминают, ухмыляются».

Клев был хороший. Бралась тарань. Когда солнце стало припекать, что-то плеснулось в реке. Из воды вылетела небольшая щука и шлепнулась на отлогий берег. Не успел я глазом моргнуть, налетели вороны. Одна с ходу цапнула рыбину да так в лапах и понесла к яру. Подружки погнались за ней. Началась потасовка.

Вскоре вторая щука, как торпеда, промчалась по воде и также выбросилась на сушу. На этот раз я не дал маху. Рыба билась в моих руках. Вороны кружили над головой.

Я позабыл про удочку. Щука широко открывала пасть, тяжело глотала горячий воздух. «Что, — думал я, — заставило ее идти на самоубийство?» В погоне за мальками хищницы иногда делают просчет. Но вскоре убедился: здесь что-то другое. Очутившись на берегу, щуки не проявляли особой прыти скакаться в воду. Иногда они засыпали, лишь наполовину высунувшись из воды.

Несколько раз в жаркие дни я ходил к этому удивительно-

му месту. Всегда возвращался с тяжелой ношей. И мне тогда казалось, что я отгадал щучью загадку.

В Маныче была горько-соленая вода, в жаркое время — почти рассол. Щуки же пресноводны. Они вырастают в лиманах и озерах. Озера соединены с рекой ериками. По ним-то в дождливую пору хищницы скатываются в Маныч. Попав в чужую им стихию, они испытывают мучения. И потому ищут быструю смерть на берегу.

А может быть, в этом кроется еще неразгаданная тайна?

**Р**ебятишки подобрали на колхозном дворе и принесли мне желторотого беспомощного скворчонка. Он, видимо, ночью вывалился из-под стрехи, ушибся, озяб да и проголодался.

— Что ж с тобой, Найденыш, делать? — спрашивал я у птенца. А он пятился и пугливо озирался.

Возле нашего дома, на самой высокой акации был скворечник. В нем давно пищали птенцы. Когда взрослые скворцы улетели на поиски корма, я принес лестницу, помог сынишке взобраться на дерево. Он опустил Найденыша в чужое гнездо.

Вскоре вернулись скворцы с гусеницами и мухами в клювах. Нырнули в свой домик, выскочили и подняли тревожный крик.

Затем они улетели и возвратились с добрым десятком других скворцов. Все поочередно заглядывали в скворечник, издавали истошный писк. О чем спорили — неизвестно...

На второй день страсти улеглись. Теперь корм стали приносить не только хозяева скворечника, но и другие скворцы. То ли отыскались родители Найденыша, то ли нашлись опекуны.

## НАЙДЕНЫШ



**В**олосы у него рыжие-рыжие, с завитушками. Лицо красное, будто обожженное. На щеках крупные каштановые конопушки. Из-под густых белесых бровей светятся приветливые глаза. Когда он щурится, глаза становятся синими, глубокими. Нос у него с горбинкой, губы в трещинах, как у мальчишек, что день-деньской на реке пропадают. Таков Роман Пьявкин.

Ему за сорок. Но выглядит он гораздо моложе.

Появился Пьявкин в наших местах лет пять тому назад. В шоферской спецовке, кирзовых сапогах деловито шагал он по базару, ко всему приценивался. Долго, тщательно перечитывал объявления, наклеенные на заборе, записывал в книжечку названия улиц, номера продающихся домов.

В тот же день побывал на берегу Маныча, на водохранилище, на Шахаевском лимане. Когда смотрел на широкие вод-

## ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

ные просторы, на бескрайние заросли камышей, в его глазах вспыхивали веселые искорки. И можно было понять, что человек, наконец, нашел то, что долго искал. Такая радость светится в глазах людей, которые встречаются после долгой разлуки с самым заветным и не знают, как выразить чувства.

Роман заводил разговоры с мальчишками-рыбаками, интересовался, где какая рыба водится. Брал в руки бамбуковое удилище, показывал, как нужно подсекать лещей, красноперок, как нужно вываживать сазана. Увидев стайку летящих над камышами уток, он проводил их внимательным взглядом. Затем стал расспрашивать, какая весной и осенью бывает перелетная птица, помногу ли убивают охотники.

Через несколько дней Пьявкин купил на окраине хутора, у проезжей дороги, неказистую хатенку. Вскоре привез краснощекую толстуху-жену. Стал тихонько знакомыми обзаводиться. Пригласил к себе людей на выходные. Соседи проявили к нему живой интерес. Они надеялись, что Роман в механизаторы пойдет или в животноводы. Даже бригадирскую должность в колхозе прочили. Но Роман сказал с болью:

— Душой рад. Да вот язва в кишках... Запрет врачи дали. Теперь моя работа — рыбки поймать на уху или там с ружьишком прогуляться, побыть, так сказать, на лоне. А вообще — дело мое — табак!

Посочувствовали соседи. Дали советы насчет лечения. Помогли жену Варвару на инкубаторную станцию определить.

Ни у кого в долгу Роман не остался. Делился с соседями рыбой, свежечком. Дичиной угощал. Старушке Семеновне забор починил. Макару-сапожнику сено помог привезти с займища. На свадьбе соседского сына день и ночь на баяне играл. И все это бескорыстно.

— Добрый, сердечный человек, — говорили о нем люди.

Станным было лишь то, что от Романа всегда — и утром и вечером — пахло водочкой. Наиболее догадливые говорили, что он лекарства на спирту принимает.

Как-то увидел я Романа на речной пристани, в буфете. Он был в компании проезжих гуляк. Захмелев, обнимал, целовал каждого. Подойдя, я спросил:

— С чего это ты?

Взглянул он, бросил туманный испуганный взгляд.

— С горя! — ответил. — Язву промываю.

Встреча со мной была ему явно неприятна. Он быстро ушел к друзьям...

Однажды два хуторских школьника — шестиклассники Витя Горюнов и Игорь Карпов — катались на шлюпке по Веселовскому водохранилищу. Увлечшись, они даже не заметили, как доплыли до глухого безымянного островка. Именно здесь, Игорь это знал, в размытых пластах глины и песчаника юные археологи нашли в прошлом году каменные скребки, наконечники стрел, черепки древних сосудов. Все это хранится теперь в школьном музее.

Неожиданно задул, зашумел ветер. С юго-запада повалили черные, рваные тучи. Как дробинки, забулькали по воде крупные холодные капли. Волны стали заплескивать лодку. По воде скакали белые барашки. Быстро темнело. Ребятам ничего не оставалось, как заночевать на острове. Они вытащили шлюпку на берег, перевернули вверх дном, соорудили себе убежище, постель из камыша. Однако ночью ветер внезапно утих. Ребята долго не могли уснуть. В темноте над островом со





свистом носились дикие утки. Они совсем близко плюхались в воду, лопотали, шлепали крыльями, плескались, крякали на сотни голосов.

— И откуда их такая уйма? — удивился Витя.

— Как откуда! Это их дом. Мы — в заповеднике, — объяснил Игорь.

Перед утром небо очистилось. Робко проглянули редкие звезды. Но вскоре стали бледнеть и, как сахар в воде, растаяли в дымке.

Ребят разбудил шум. Будто вихрь мчался по камышам. Вскочили они. Тысячи уток серой тучей неслись на восток, туда, откуда готовилось взойти солнце.

— Что они так всполошились?

— Гляди! — воскликнул Игорь.

На отмели стояла лодка. По берегу бегал человек. Длинной палкой он бил барахтающихся в грязи уток, затем пихал их в мешок.

— Такой и человека убить может! — шепотом произнес Витя.

— Да это, кажись, тот, рыжий! Ого! Лодку дичи нагрузил. Давай пуганем! — и, не дождавшись согласия товарища, Игорь заложил в рот два пальца, пронзительно засвистал.

Человек подскочил, будто ударили его. Заметался. Подхватил мешок, прыгнул в лодку, оттолкнулся, захлопал веслами, канул в густых зарослях.

Подошли ребята к отлогому берегу, а он пшеницей усыпан. То там, то сям утки лежат. Некоторые копошатся. Не успел подобрать браконьер.

— Как же он их? Ведь без единого выстрела! — удивился Витя.

— Не знаю, — пожал плечами Игорь. — Но надо немедленно заявить!

Сто потов сошло с ребят, пока назад плыли. В милицию бегом прибежали.

...На следствии Пьявкин, как угорь, извивался, выкручивался, хотя улики были налицо: конфискована дичь, большая сумма денег. А вот на суде язык у него развязался.

Не без хвастовства рассказал он, как «умело» добывал дичь на проспиртованную пшеницу. Как денежки прямо на крыльях летели в его карман.

И тут я вспомнил одну загадочную историю.

Как-то в начале зимы школьники катались на коньках. На одном из отдаленных плесов водохранилища они увидели торчащие во льду гусиные лапки. И ни много, ни мало насчитали сто двадцать семь пар. Куда делись гуси, оставалось тайной.

Теперь узнали: полыньи делал Пьявкин. В каждую из них сажал домашнего гуся на привязи. На льду у самой кромки сыпал снотворную подкормку. Ночью запоздавшие с отлетом гуси и казарки садились на воду, набрасывались на еду и становились добычей браконьера.

В зале суда было какое-то оцепенение. Люди онемело слушали Пьявкина. Они были поражены не столько его откровенностью, сколько хладнокровной подлостью.

Вот вам и добрый человек!





# В НЬЮ-ДЖЕРСИ ПРИЗЕМЛИЛИСЬ МАРСИАНЕ...

**В**опреки Уэллсу, все началось в лучших традициях научно-фантастических романов — с полной неожиданности.

Помните, как это происходило в книге?

«Затем наступила ночь первой падающей звезды. Ее заметили на рассвете; она неслась над Винчестером, к востоку, очень высоко, чертя огненную линию. Сотни людей видели ее и приняли за обыкновенную падающую звезду...»

Мастер бытовой прозы, Уэллс и в фантастических романах придерживался своего излюбленного повествовательного метода: и тут обитали все те же средние, ничем не примечательные люди, и тут самые выдающиеся события происходили в самой заурядной обстановке, и тут вокруг этих событий обычно не возникало никакого преждевременного ажиотажа. Вот и марсиане в его «Борьбе миров» приземлились в британской провинции тихо и почти незаметно; в первую ночь их пребывания на Земле никто не поинтересовался упавшей с неба гигантской массой. Так оно, возможно, могло бы произойти и в действительности... Но вот случилось-то все совершенно иначе!

...В тот день, в восемь часов вечера по времени Нью-Йорка, обычную музыкальную программу радиовещательной компании «Колумбия» прервало краткое сообщение об упавшем в штате Нью-Джерси необычном метеорите. За первым сообщением последовали другие: из обсерватории в Принстоне, из штата Нью-Джерси — с места падения, из правительственных учреждений Вашингтона, с крыши нью-йоркского небоскреба...

Привлекший всеобщее внимание «метеорит» оказался гигантским металлическим снарядом. А дальше?.. Если не считать сверхскоростных темпов развития событий, дальше уже все шло совсем так, как это было в романе Уэллса. Правда, с кое-какими поправками, ибо марсианский корабль приземлился не в старой доброй Англии, а как-никак в штате Нью-Джерси, в непосредственной близости от Нью-Йорка, этого ультрасовременного сверхгорода.

Из «метеорита» одно за другим полезли чудовища-марсиане. Ростом — с нью-йоркский небоскреб каждое; с внешним обликом — отвратительным и ужасным. Было при них и страшное, почти «уэллсовское» оружие — зеркала, излучавшие огонь и смерть. Буквально в первые же минуты этими лучами был уничтожен семитысячный воинский отряд, разгромлены посланные против марсиан военно-воздушные силы.

Марсиане двинулись к Нью-Йорку, умерщвляя и пожирая людей, разрушая здания, мосты, дороги. Ядовитым черным дымом вытравили они все живое на своем пути...

О кошмарных событиях того вечера американцы узнавали из коротких сообщений радиокompании «Колумбия», работавшей с оперативностью, удивительной даже для нашего «технического» двадцатого века. В первый же час космической агрессии по радио было зачитано заявление министра внутренних дел...

Сообщения радиокompании не несли в себе ничего утешительного, и рядового американца охватил страх. «Быть может, подобная волна ужа-

са еще никогда не катилась по стране с такой быстротой», — отметил впоследствии газета «Нью-Йорк Уорлд Телеграм»... Особенно крупных размеров паника достигла в штате Нью-Джерси и соседнем с ним штате Нью-Йорк. Маленькие города здесь обезлюдели совершенно: население их бежало в поля и горы, бросив жилища, захватив с собой лишь детей да наиболее ценные вещи. Десятки тысяч людей обращались в полицейские участки, в правительственные учреждения с одними и теми же вопросами: где укрыться от вражеского нападения, куда бежать, где достать противогаз? Но полиция и местные власти, поначалу тоже поддавшиеся панике, мало чем могли помочь своим согражданам.

Волна ужаса перед марсианами не ограничилась пределами двух штатов: она прокатилась по всей стране. На улицах Сан-Луи группы людей возбужденно обсуждали последние радиосообщения. В Чикаго опустели рестораны. В Провиденсе обыватели требовали от местной электромпании немедленно выключить свет во всем городе, чтобы замаскироваться от нападения с воздуха. В Индианополисе какая-то женщина ворвалась в церковь во время богослужения, крича: «Нью-Йорк разрушен! Настал конец света! Я слышала это по радио... Расходитесь по домам — лучше умереть у себя дома!» Церковь моментально опустела...

Все эти события происходили в течение какого-то часа, — с восьми до девяти часов вечера. А потом... Потом последовало завершающее сообщение радиомпании: марсиане... погибли от земных микробов!

Словом, и закончилось все — вполне по Уэллсу...

Читатель вправе задать вопрос: зачем автору этой заметки понадобилось прибегать к заведомой выдумке? Посети Землю марсиане — каждый житель планеты давным-давно знал бы об этом!

Да, марсиан на Земле не было. И тем не менее все, о чем в этой заметке рассказано, — истинная правда. Правда, — что в один из вечеров 1938 года американская радиомпания «Колумбия» начала передавать упомянутые здесь сообщения. Правда, — что в стране разразилась невиданная паника.

Лишь об одном мы «забыли» упомянуть: в тот вечер радиомпания «Колумбия» передавала инсценировку по знаменитому уэллсовскому роману «Борьба миров».

Подготовил эту передачу двадцатитрехлет-

ний Орсон Уэллес с артистической труппой «Театр Меркурия». Уэллес «американизировал» Уэллса: перенес из Англии в США место действия, «переписал» роман, приспособив текст к методам и формам современных режиссеру американских радиопередач. И столь гипнотическим оказался документальный характер передачи, что даже могучий механизм полиции был на первых порах выведен из строя. Главному полицейскому управлению штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси пришлось срочно давать своим подопечным по телетайпу обстоятельное сообщение о смысле радиопередачи!

Между тем правительственная комиссия, изучавшая впоследствии материалы передачи, установила: не только перед началом и по окончании, но и дважды в ходе передачи диктор специально предупреждал слушателей, что передается инсценировка фантастического романа. Текст инсценировки был опубликован в газете «Нью-Йорк Таймс». И он в свою очередь свидетельствовал: диктор и артисты все время говорили о совершенно неправдоподобных, сугубо фантастических вещах — о «жителях Марса», о «чудовищах»...

На чем же основывался столь очевидный успех мистификации Орсона Уэллеса?

Не нужно забывать, что шел 1938 год. В Европе входил в полную силу фашизм, и Гитлер уже вот-вот готов был начать серию своих «блицкригов», стремясь урвать для Третьего рейха изрядный кусок «жизненного пространства». Войной, большой войной ошутимо пахло в предгрозовой атмосфере Земли. Военный психоз и был почвой, взрастившей завидное легковерие американского обывателя.

И, конечно, вовсе не случайно журнал «Нью Мессес», комментируя «высадку марсиан» в Нью-Джерси, писал: «Угроза войны глубоко проникла в сознание людей... Никакой ужас не представляется слишком большим, никакая катастрофа не кажется слишком сверхъестественной, чтоб быть невероятными...»

В. ИВАНОВ

# МОЙ ДРУГ- ФАН- ТАС- ТИКА

Михаил АНЧАРОВ  
СОДА-СОЛНЦЕ.

М., Изд-во «Молодая гвардия», 1968. 334 стр.

Искать... дьявола?! Да. Герои М. Анчарова ищут именно дьявола. И находят, — пусть не его самого, но, во всяком случае, его логово. Легендарный Таргар оказывается совершенно земным местом...

Повести, вошедшие в книгу, связаны между собой общими героями.

## НОВИНКИ—1968

ФАНТАСТИКА, 1967.

М., Изд-во «Молодая гвардия», 1968. 416 стр.

Традиционный ежегодник разбит на шесть тематических разделов. Пять из них составлены из произведений 24 советских фантастов: читатель найдет здесь рассказы, повести, юморески, сказки. В за-

ключительном разделе книги — библиографический список советской фантастики первого десятилетия, материалы по «фантастическим» анкетам 1967 года.

В сборнике впервые опубликована научно-фантастическая повесть Андрея Платонова «Эфирный тракт».

К. ГУРВИЧ

# от РАБА до УЧЕНОГО

## Христофор Барданес

**В** те времена, о которых пойдет рассказ, то есть в 40—60-е годы XVIII века, Бессарабия, ныне Молдавия, формально принадлежала Турции. Но всеми своими экономическими, культурными, религиозными интересами тяготела к России, связи с которой были весьма оживленными. Вот почему, когда у кишиневского купца Барданеса, грека по происхождению, подрос сын Христофор и стал вопрос о его учении, решено было послать юношу в Киев, культурный центр юго-западной России.

Поплакали, снабдили советами, деньгами, на дорогу напекли, наварили и насобирали всякой всячины и всякой снеди — и жареной, и пареной, и вареной, и копченой. Не забыли и одежду — дорога дальняя, мало обжитая. По обычаю, посидели перед дорогой, перекрестились, и вот уже возок покатил вдаль, увозя юношу в далекий Киев, навстречу судьбе.

Увы, она оказалась далеко не ласковой. Но об этом еще никто и не догадывался. Наоборот, Христофору завидовали, прочили блестящую карьеру, а какую — пока еще неизвестно: может быть важного чиновника русской администрации новоприосоединенных областей Причерноморья, может быть... Впрочем, много что может быть впереди, а скорее всего, что, получив в Киеве образование, Христофор возвратится в родной Кишинев, в отчий дом, и станет деятельным помощником отца по торговой части.

Прошло несколько месяцев. Наступило жаркое украинское лето. Христофор отправился домой на побывку. В те времена дороги были не

безопасны. По украинской степи бродили шайки татар и кочевых ногайцев, совершавших молниеносные набеги на небольшие хуторки и караваны путников. Налетят, постреляют, на шумят, разграбят караваны и жилье, уведут в плен скот и людей и... словно сгинут в бескрайней степи, расстают в степном мареве.

Поехал домой Христофор, разумеется, не один, а с небольшим караваном. Но не спасло это его от беды: в степи налетели ногайцы, разграбили караван, кого убили, а остальных, в том числе и Христофора, скрутили, связали по рукам и ногам и... прости-прощай, родная семья, родной дом, гимназия, Киев, свобода! Отныне ты, Христофор, уже не сын молдавского купца, не ученик киевской гимназии. Отныне ты — раб!

Мы не знаем, долго ли томился Барданес в неволе у первого хозяина, но знаем, что был он привезен им в Стамбул, где в то время процветал международный невольничий рынок.

...Шумит разногласными и разноязычными говорами майдан невольничьего стамбульского рынка, самого крупного в Европе, да, пожалуй, и в Азии. Каких только людей здесь не увидишь: белолицые и белокурые англичане; смуглолицые и черноволосые испанцы и португальцы, венецианцы и генуэзцы; купцы из стран арабского Магриба, из Египта, Сирии и многих и многих других стран.

А рабы? Кого только не выставляют на продажу предприимчивые купцы-работорговцы! Здесь и черные, как сажа, суданцы, курчавые, толстогубые, дикие, но здоровые и выносливые! Смуглые сирийцы. Большеглазые и пугливые ин-

дийцы. Но, право же, самые лучшие из лучших, это выставленные на продажу русы — белокурые, голубоглазые, мускулистые. Дороже всех ценятся они на торжище. Русские рабыни тоже в большой цене. Покупают их охотнее других.

Измученные и скорбные стоят невольники — юноши и девушки, взрослые и дети. Ну, и что такого, если жену отрывают от мужа, сестру от брата, ребенка от матери. Поплачут, конечно, но без этого, но пройдет время, успокоятся. А не успокоятся сами, хозяин найдет нужные «успокоительные» средства!

Молодой и здоровый Христофор не долго ждал своего покупателя. Вот он уже стоит перед рабом, окидывает испытующим взглядом, оценивает, ощупывает мускулы, заглядывает в рот, целы ли зубы, глядит, нет ли где на теле изъязнов? Нет, вроде, раб подходящий. И покупатель начинает торговаться с хозяином.

И вот уже договорились, продавцу вручены деньги, раб передан в руки покупателя. Отныне Христофор — его собственность, которую он может оставить у себя, перепродать, а под злую руку изувечить или убить. И совесть его будет чиста и перед собою, и перед господом богом, и перед людьми, ибо кто такой Христофор? Вещь, мужское тело. О рабах еще в древнем Риме на невольничьих рынках так и говорили: «продается мужское тело, имя такое-то, умеет делать то-то, цена такая-то».

**Н**е установлено, кто купил Барданеса на невольничьем рынке в Стамбуле, известно только, что с этим хозяином он объездил всю западную и южную Европу. О целях многолетних скитаний мы можем только строить разного рода предположения. Определенно известно лишь то, что основным местожительством хозяина была Вена и что этому человеку не сиделось на месте. Германия и Польша, Франция и северная Италия, снова Польша и Германия, снова Италия и Франция. И так много лет. Вена и Прага, Берлин и Кельн, Париж и Марсель, Милан и Венеция, Рим и Генуя, Варшава и Краков — не раз и не два видел Христофор их улицы и стены, площади и рынки.

Мы не знаем, почему хозяин Барданеса возил с собой раба. Можно предположить, что Христофор сумел стать ему, если не помощником, то нужным и полезным слугой. Ибо, как отмечал впоследствии его анонимный биограф, «...он говорил на многих языках, был весьма здоров, довольствовался малым... Как человек, видевший много на свете, ничему не удивлялся, но все особенно значительное открывал весьма скоро. Он имел великую страсть к собиранию всяких известий, заводил везде знакомства с отличнейшими мужами, беседовал с путешественниками и потому был начальству своему полезен».

Но никто уже не сможет нам объяснить, почему, имея столь ценного раба, хозяин его, возвратившись из очередного вояжа по Европе, продал Христофора другому купцу, тоже оставшемуся неизвестным. Однако вскоре после перепродажи, Христофор освободился, вероятнее всего сбегал. Как писал его биограф, он «... бродил

в печальном виде по Венгрии и Польше, пока не оказался в ходе своих странствований в Петербурге».



от Христофор в Петербурге. В «печальном виде» прибыл он в столицу России, наверное пешком и, надо полагать, не без приключений.

Вот она, столица великого государства; вот он, Петербург 60-х годов XVIII столетия. Длинная и широкая Невская перспектива, хотя и немало замусорена, но являет собою величественный вид. Высятся дворцы вельмож. Еще нет ни Казанского, ни Исаакиевского соборов, еще Адмиралтейство не имеет того стройного и строгого вида, какой оно приобретет в недалеком будущем; еще многое в Петербурге напоминает времена создателя его, Петра I. Но на Невском и за ним видны леса вновь воздвигаемых зданий — все больше и больше дворян, купцов, иностранцев поселяется в стольном граде, поближе ко двору, к милостям императрицы Екатерины II.

Прожив некоторое время в столице, осмотревшись, заведя нужные знакомства, Барданес здесь прижился и стал устраиваться по фундаментальнее. Возраст уже немалый, за тридцать, надо приобретать надежную специальность, добиться исполнения давней мечты — получить образование. И вот, будучи уже в столь почтенном для ученика возрасте, Христофор поступает в Петербургское медико-хирургическое училище.

Училище, учрежденное еще Петром I, размещалось на Выборгской стороне, близ нынешнего Литейного моста. Двадцать ее штатных учеников комплектовались из числа семинаристов, преимущественно из тех, что хорошо знали латинский язык. Преподавание велось, в основном, на латыни, иногда на немецком и только изредка на русском языках. Преподавателями были, как правило, иностранцы, большей частью немцы.

Что же касается порядков в училище, то читатели, знакомые с известными описаниями бурсы Помяловского, примут во внимание, что его бурса конца XIX века была просто раем по сравнению с медико-хирургическими училищами и их «порядками». Жесткая воинская дисциплина, дрянное обмундирование, скверная пища и... полная свобода любому преподавателю мучить учеников. Розги, плетки, карцер — вот основные «наглядные пособия», к которым часто прибегали наставники, полагая, что «ум, вогнанный через задние ворота», — наилучший способ овладения науками.

Срок обучения для лекарей был семилетний; в половине учебного курса хорошим ученикам присваивалось звание подлекаря. Его и получил Барданес в свое время.

Сразу же по сдаче экзамена он назначен на должность подлекаря в Адмиралтейский госпиталь здесь же, в Петербурге. Начинается новая страница в трудной жизни Барданеса. Но теперь он уже не раб, не человек без роду и племени, без образования и специальности. Он — вольный человек, на службе ее величества, императрицы всероссийской, подлекарь Санкт-Петербургского Адмиралтейского госпиталя.



Экономическое развитие России во второй половине XVIII века вызвало необходимость изучения малоизвестных и слабо освоенных территорий юго-востока европейской России, Урала и западной Сибири. С этими целями в 60—70-х годах были сформированы четыре академические экспедиции. Возглавляли их академики С. С. Паллас, И. И. Лепехин, Г. Гильденштедт и И. Фальк. Хотя экспедиции назывались «оренбургскими», фактически они охватили и районы горного Алтая на востоке, Закавказье и Иран — на юге, Белое и Баренцово моря — на севере.

Узнав о формировании экспедиции, Барданес обратился к Фальку с просьбой зачислить его в состав отряда. Хотя отряд в основном был уже сформирован, оставалась не замещенной еще одна весьма скромная должность — «чучельщика». Однако ни скромность предложенной должности, ни малые размеры оклада не остановили Барданеса, он стал спутником Фалька.

Личные качества Барданеса, о которых мы уже говорили, способствовали тому, что, будучи официально скромным «чучельщиком», он фактически стал одним из самых деятельных помощников Фалька.

Иоганн-Петр Фальк, руководитель отряда, член Российской Академии наук, был принят на русскую службу по рекомендации знаменитого Линнея. С 1765 года Фальк стал профессором ботаники и медицины при Медицинской Коллегии и смотрителем ее Аптекарского сада.

Отряд Фалька составляли: И. Георги, впоследствии также академик, «студенты» Академии наук Иван Быков, Степан Кашкарев, рисовальщик П. Григорьев, Христофор Барданес и два стрелка. Вот и весь отряд, которому предстояло исследовать обширные районы юго-востока европейской части России и значительную часть южной Сибири.

5 сентября 1768 года отряд отправился в дорогу. Из Петербурга выехали обычным для того времени маршрутом: через Тверь, Москву, Саратов, Царицын в Астрахань, куда добрались только в конце лета 1770 года, ведя в пути научную работу. Отсюда, из Астрахани, и началось путешествие по Южному Уралу, Западной Сибири и горному Алтаю, продолжавшееся около двух лет.

Маршрут этого интересного путешествия подробно описан В. Гнучевой в книге «Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках» (изд. 1940 г.) и здесь мы расскажем лишь вкратце о двух самостоятельных поездках Барданеса в казахские степи, где проявились лучшие его качества как ученого.

Вот какими словами начинает он свой отчет: «Поручение моего начальника академика Фалька учинить особую поездку в киргизскую, еще мало известную степь, при моем ненасытном желании и надежде открыть что-либо полезное, наполнило меня живейшей радостью. Поездка сия была под прикрытием войск, посланных в оную степь по причине беглых калмыков, и состоявшего под начальством подполковника Титова. Не смотря на все предусмотренные опасности и затруднения, охотно последовал я сему повелению».

Далее Барданес приводит маршрут этого интересного путешествия, совершенного, как видим, с отрядом войск, посланным вдогонку за калмыками, которые в эти годы в большом количестве

откочевали с Нижней Волги в Узбекистан, а затем двинулись в нынешний китайский Синцзян или Джунгарию (ее Барданес именует «Зюнгорией»).

Вот вкратце этот путь по почти неизведанной степи, по полному бездорожью и среди не совсем еще мирного населения.

20 апреля 1771 года вышли из Челябины по направлению к Звериноголовской крепости на реке Тобол, отсюда 5 мая пошли в Троицк, а спустя пять дней пришли к развалинам, что находятся в 19 верстах выше Тугузина.

На этой остановке, последней на Тоболе, Барданеса заинтересовало происхождение названия реки Тобол. Вот его объяснение: «У источников, что имеются вблизи этой реки, весьма обыкновенная птица таволка, по-казахски — табул, по-башкирски — табол, от него и название реки».

27 мая достигли Алгинского хребта в 463 верстах от Троицка. 28 мая выехали обратно. 7 июня остановились у озера Эбелей, что лежит в 165 верстах к северу от Алгинских гор. Через четыре дня снова вышли к Тоболу и 15 июня возвратились в Троицк, на базу отряда.

Отсюда же, из Троицка, Барданес совершил и второй свой самостоятельный маршрут в «Киргизскую и Зюнгорскую степь».

Из Троицка выехали 16 июня 1771 года и через Звериноголовскую крепость прибыли в Петропавловскую крепость на Ишиме, где находилась воинская команда подполковника Рычкова, к которому Барданес и присоединился. Назначение эта команда имела то же, что и предыдущая: отыскать откочевавших калмыков и возвратить их на место. 14 июля прибыли в Омск, где в это время находился Георги. Барданес отдал ему все, что было собрано им в пути от Троицка до Омска.

Из Омска пошли далее по так называемой «Сибирской линии». Пройдя последовательно переправу через реку Карасу, приток Иртыша, озеро Каргакул, крепость Железнинскую, 26 июля встретились с кочевьем султана Мамета, владельца малого улуса Средней Киргизской Орды, у которого и прогостили один день. В своих записках Барданес приводит живое описание кочевья и самого султана Мамета. Из этого кочевья вышли к Ямышевской крепости и у близлежащего соленого озера Барданес познакомился со способом лечения чумных больных.

13 августа Барданес расстался с отрядом Рычкова. Последний проследовал дальше в поисках калмыков, а Барданес направился в Семипалатинскую крепость и из нее пошел далее вверх по левому берегу Иртыша. Пройдя последовательно станции Лебяжью, Спасскую и Грачевскую, он возвратился в Семипалатинскую крепость 22 августа. Описывая Семипалатинск, Барданес сообщает следующие сведения о его жителях: «...В нем 120 человек драгун, 80 казаков и инвалидов, свободных людей 183 души мужского и 166 душ женского пола, кои занимаются, главным образом, скотоводством». Название крепости он производит от развалин семи каменных татарских или монгольских палат, лежащих в двух верстах от крепости. При осмотре им этих развалин, он обнаружил на них сохранившиеся еще тангутские надписи.

Отсюда, из Семипалатинска, он вышел вместе с майором Зейфертом по левой стороне Иртыша в глубь Алтая. 27 августа пришли в Шульбинский форпост, из которого двинулись далее

на юго-восток в «Зюнгорские» горы. Пройдя берегом Иртыша свыше 300 верст, 9 сентября пришли в Аблакет, откуда повернули в обратный путь и 23 сентября возвратились в Семипалатинскую крепость.

В томе «Ученых путешествий», содержащем описание итогов экспедиции Фалька, по материалам Барданеса приведены данные о минеральных источниках и грязях Сибири, Казахстана и Северного Кавказа.

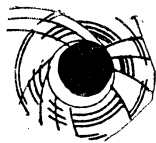
Осенью 1772 года в Томске Фальк встретился с руководителем другой экспедиции — академиком Палласом. Сюда же прибыл из Барнаула и Георги. Так как у Фалька во время пребывания в Томске повторились сильные припадки психического расстройства, которые у него бывали и ранее, пришлось прервать путешествие и возвращаться в Петербург. Сюда же, в Томск, к этому времени прибыл и Барданес из своего самостоятельного маршрута по казахским степям. Паллас поручил ему и Георги сопровождать больного Фалька в обратный путь. В пути, в Казани, Фальку стало легче, и они втроем совершили поездку вниз по Волге и далее через калмыцкие степи на Северный Кавказ, вплоть до нынешних Минеральных вод. Возвратившись в 1773 году из этой поездки снова в Казань, Фальк в очередном припадке психического расстройства застрелился. Георги поручил Барданесу собрать и доставить в Петербург рукописи и коллекции покойного ученого. Барданес доставил все это в столицу уже в 1774 году.

Возвращаться в экспедицию не было смысла, так как она уже свертывалась. Поскольку Барданес проявил себя с хорошей стороны и деловые его качества в Академии наук уже были извест-

ны, «подлекаря» оставили на службе при Академии в качестве лаборанта химической лаборатории. Однако новая — очень уже спокойная — работа не увлекла Барданеса. Вскоре он оставил должность и возвратился к медицинской профессии. За его спиной — немалый стаж и житейский опыт, а потребность в медиках в стране большая. Он решил поступить на флот. Его назначают лекарем, сначала в Кронштадт, а потом в Таганрог. Здесь и проходит вся его дальнейшая служба.

В Таганроге в то время проживало много его соплеменников — греков; материальное и служебное положение Барданеса было прочным. Казалось, можно было осесть на месте. Но беспокойная натура снова влечет его в странствия. И вот, в качестве судового лекаря он совершает несколько дальних морских путешествий на кораблях русского военного флота.

Ученик киевской гимназии; раб; воспитанник медико-хирургического училища в Петербурге; «чучельник» в отряде Фалька и деятельный помощник его; исследователь северной части Казахстана, вплоть до границ Джунгарии; лаборант химической лаборатории Академии наук; лекарь в Кронштадте; судовой врач в Таганроге; мореплаватель — таковы этапы не слишком долгой жизни Барданеса, полной превратностей и лишений. Приходится удивляться огромной жизненной энергии, целеустремленности, настойчивости, наблюдательности и многим другим примечательным качествам Барданеса, помогшим ему не смириться с долей раба, а вырваться на волю и стать ученым, сделавшим немалый вклад в познание многих районов тогдашней России.





## МАЛЬЧИШКА НА ТАНКЕ

Недавно, просматривая «Уральский следопыт» за 1963 год, я увидел во втором номере фотографию военного времени. На танке около развешающегося знамени стоит девушка. Тут же рядом, на броне башни, примостился парнишка. В тот день, когда объектив фотоаппарата запечатлел его на танке, в Прагу пришла победа. А к танкистам паренек попал много раньше. Об этом Анатолий Гончарук рассказал мне при нашем знакомстве.

Бои шли в Брянской области. Воины Свердловской бригады 10-го Уральского танкового корпуса подобрали на шоссе мальчонку. Сержант привел его в политотдел.

— Как, сынок, попал к нам? — спросил его подполковник Захарченко.

И рассказал Толя о своих похождениях: убежал из дома, где жилось несладко, бывал в разных частях, теперь вот в бригаде.

Крепко подружился мальчонка с Захарченко, не отходил от него. И тот полюбил его как сына, рассказывал о своей семье, дал адрес жены.

Но Захарченко погиб, и шефство над парнишкой взял майор Нил Петрович Беклемишев. Узнал Нил Петрович, что Толя с Урала, что читает неважно, да и в арифметике слабоват. Поручил лейтенанту Смирнову заниматься с ним. Учился Толя грамоте и воевал наравне со взрослыми. Когда освободили Каменец-Подольский, в бригаду приехал вручать награды генерал Д. Д. Лелюшенко. Он был удивлен, когда прочитав по наградному листу «Анатолий Гончарук», увидел перед собой мальчонку. И вот на груди маленького бойца медаль «За боевые заслуги».

Пришли мирные дни. Переполненные эшелоны с демобилизованными возвращались домой. Ехал и Анатолий Гончарук в Черновицы. Тут под городом жила жена Захарченко. Прибыл ночью. Решил идти до места, но вскоре устал и завернул в деревушку. Постучал в окошко хаты, в дверях показался старик, пригласил: «Заходи, заночуешь». Только коснулся щекой подушки, заснул. Снилось огромное мирное поле. И вдруг все оборвалось... Перед глазами три искаженных лица. Бандеровцы.

— Бей комсомольца-змееныша! — зашипел один. И посыпались удары. Потом Толю выволокли на улицу, он потерял сознание.

Пришел в себя только днем. Рядом сидел солдат. Поразила необычная тишина.

— Что со мной? Где я? — Видимо, эти слова Толя произнес вслух, потому что сразу же подошел солдат и начал рассказывать: «Слышим страшные крики, ну и мы из засады к хате. Трое здоровенных мужиков добивают тебя».

Неделю Толя пролежал в постели, на вторую встал: молодой организм взял верх. Но остался почти глухим. Трудно приходилось, и всегда помогали бывшие фронтовики.

Толя, теперь уже Анатолий Владимирович, работает в медницком цехе Уральского вагоностроительного завода. Закончил восьмой класс вечерней школы. В канун золотого юбилея Великого Октября получил он весточку от Нила Петровича Беклемишева: «Дорогой Толя, поздравляю тебя с праздником! Ты должен гордиться, что самые тяжелые для страны дни прошагал с оружием в руках вместе с нашими гвардейскими разведчиками».

К четырем медалям Анатолия Гончарука недавно прибавилась еще одна — юбилейная.

В. БЕЛИН





# НАЙДИ, УЗНАЙ!

В Свердловске есть улица, которая носит имя бесстрашной девушки Рипы Полежаевой, погибшей от рук белогвардейцев в 1919 году. С тех пор прошло пятьдесят лет, но люди помнят о ней.

века. Я, жена и две моих дочери часто вспоминаем о ней. Рипа своей жизнью, своим характером, благородством и простотой души заставила не забыть о себе даже после истечения полувека, не забыть о том, что она жила и действовала согласно своей идеи человека, учительницы и революционера».

Письмо и эту фотографию Алевтина Васильевна передала в редакцию «Уральского следопыта». На ней Рипа со своими товарищами. На обороте ее рукой написано: «Больше никого из них я не видела, кроме комитета».

Предполагается, что снимок сделан в 1917 году. Рипа в это время училась в седьмом клас-



Недавно сестра Рипы Алевтина Васильевна Карягина получила письмо от гражданина Польской Народной Республики Иосифа Хорвата — бывшего ученика Полежаевой. В то далекое время ему было двенадцать лет, и он с родителями жил на Урале.

Вот что пишет Хорват: «Я всю жизнь, когда шла речь об учителях, рассказывал о вашей сестре, и все, кто знает меня, знает и русскую учительницу Рипу. Я всегда горжусь тем, что мне лично пришлось знать такого прекрасного цело-

се гимназии и была связной подпольной организации».

Алевтина Васильевна не помнит никого из тех, кто здесь сфотографирован.

Может, кто-нибудь из читателей журнала видел или имеет у себя такой же снимок? И, может быть, знает или помнит кого-нибудь из этих людей и поможет восстановить историю фотографии!!

# ДВА ПИСЬМА

Более полувека хранились эти письма в семье старого учителя В. Е. Лезина. Они были дороги и памяты как свидетельство теплового участия двух выдающихся русских людей — писателя и ученого — в судьбе начинающего литератора. В те годы Василий Евдокимович учительствовал в сельской школе села Хромцово (ныне Белоярского района Свердловской области). Любил литературу и сам пробовал свои силы — писал стихи, рассказы. Некоторые из них решил направить на суд людей, которых глубоко уважал и на которых хотелось ему равняться — писателю М. Горькому и книговеду, известному библиографу и литератору Н. А. Рубакину. Оба они жили тогда за границей, один — в Италии, а другой — в Швейцарии.

И вот — ответы. Оба — доброжелательные, участливые, несущие важные советы и пожелания.

Н. А. Рубакин писал:

«Простите, что так долго не отвечал на Ваше письмо. Это произошло по моей болезни. Познакомившись с Вашими стихами, я думаю, что Вам бросать их писание не следует. Если Вы глубоко и сильно чувствуете то, о чем пишете, если Вы не гонитесь за фразой и красивым выражением, — у Вас может быть будущность. Правда, быть может, скромная, но все же полезная, тем более, что Вы, по-видимому, певец не только личной жизни, но и народного горя. Вам не мешает по-

знакомиться с психологией творчества и прочесть статьи Овсянко-Куликовского по этому вопросу. Затем сборник, изданный под редакцией Лезина «Вопросы психологии творчества», — 3 т. и специальный труд Потевни «Лекции по теории словесности». Быть может, в Екатеринбургской библиотеке найдете Вы их. Попробуйте посылать Ваши стихи в Ярославскую газету «Голос». Быть может, не мешает Вам попробовать свои силы в прозе, вроде таких очерков, как Коновалова в «Современном мире» и «Русском богатстве» и Пришвина в «Русских ведомостях». Вы — сами крестьянин и будущий деревенский учитель, видите крестьянскую жизнь лицом к лицу, Вы чувствуете народное горе, — пишите обо всем этом правдиво, честно и содержательно, обращая внимание прежде всего на факты. Не стесняйтесь писать мне длинных писем.

С приветом Н. Рубакин

Мой адрес: Suisse — Швейцария, Кларенс — Clarens, M<sup>r</sup> Roubakine (Пишите заказными).

Письмо это, очевидно, продиктовано Н. А. Рубакиным — написано не его рукой (свой почерк он сам разбирал с трудом). Но приветствие, подпись и приписка — собственноручные.

Вскоре пришло письмо и от Горького. Он писал:

«Вам, Василий Евдокимович, надобно учиться, надо хорошенько, внимательно читать русских поэтов, особенно — Пушкина, Лермонтова, Фета, Некрасова, Фофанова, после этих: Бальмонта, Брюсова, Соллогуба. Первые ознакомят вас с настоящим русским языком и дадут почувствовать то, что есть настоящая русская поэзия, вторые — покажут вам, как тонко отработана форма стиха. Сообщите мне, кого из поэтов вы не читали, в каких нуждаетесь книгах.

Три стихотворения, отмеченные цифрами, пересмотрите, четвертое исправьте и пошлите их по адресу: Москва, Сокольная ул., 22, Ивану Алексеевичу Белоусову, журнал «Путь».

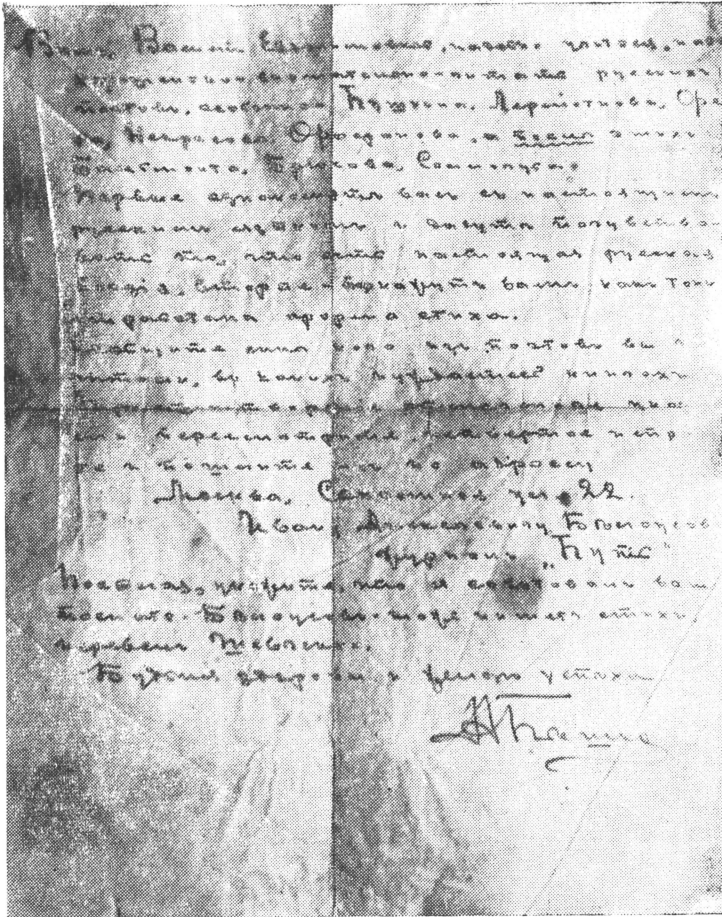
Посылая, укажите, что я советовал вам посылать Белоусову — тоже пишет стихи, перевел Шевченко. Будьте здоровы и желаю успеха.

А. Пешков».

На письме нет даты, но по почтовому штемпелю можно установить, что оно было отправлено с Капри 3 января 1912 года.

Добрые советы этих двух больших людей пошли на пользу начинающему литератору, окрылили его. Он стал печататься. В № 8 иллюстрированного детского журнала «Маяк» за 1912 год





было напечатано его стихотворение «Ночь» (в этом же журнале он печатался и позднее — в 1914 и в 1915 годах). Журнал «Семья и школа» (№ 7—1915 г.) опубликовал его рассказ «Журка и Санчик». Два его рассказа — «Птицелов в клетке» (№ 4—1916 г.) и «Дедушка Кузьма и его кучер» (№ 9—1916 г.) печатал журнал «Мирок». (Кстати сказать, редактором его был тогда В. А. Попов—впоследствии редактор «Всемирного следопыта» и «Уральского следопыта» 1935 года).

Профессиональным литератором Е. В. Лезин, как и предугадывал Н. А. Рубакин, не стал, но преданно любил литературу до конца дней своих, неторопливо и тщательно работал над своими произведениями и изредка печатал их в уральских и столичных изданиях. В советское время он преподавал в средних школах Свердловска и в Урало-Казанской Промакадемии.

А. ПОХОДОВ

# АЗЪ БУКИ ВЪДИ

## ЗРИ В КОРЕНЬ!

пишь»). Оно хорошо известно русскому человеку. Вспомним сказку А. С. Пушкина о попе и работнике его Балде: «Щелчок щелчку ведь рознь, да понадеялся он (поп) на русский авось». Известна и поговорка: «Авось да небось» (так получается у людей, которые надеются на удачу, на случай).

Состоит слово из союза **а** плюс частица **осе** — «вот» (была такая в древнерусском языке; конечное **е** в ней отпало, получилось **ось**). Между двумя гласными — **а** и **о** развился легонький губной призвук, придув, превратившийся затем в звук **в**. Так родилось **авось**, буквально — «а вот»... Любопытно?

А **азбука**? Тоже составное слово: древнерусское **азъ** — **я** и **буки** — буква. В древности каждая буква имела свое название: **в** называлась **веди** — знай, **г** — глагол — говори, **д** — добро, **е** — есть, **ж** — живете и так далее.

Интересно, что **аз** — буква **а** — значило **я**. Это слово уже личное местоимение, и стояло оно в азбуке на первом месте. А теперь говорят не в меру «якающим» людям: «**Я** — последняя буква в алфавите!» В древности не было буквы **я**.

Откуда же взялось слово **буква**? Оно происходит от названия дерева **бук**. Из бука делались палочки, на которые наши древние предки-славяне,

Есть в языке слова, к которым мы настолько привыкли, что не пробуждают они ни нашего интереса, ни удивления. А напрасно. Вот, например, **авоська** — хозяйственная сумка. Слово произошло от **авось** — может быть (сумку берет с собой хозяйка в расчете — «авось что-нибудь да ку-

не знавшие письменности, носили памятные зарубки, насечки для счета. Когда появилась письменность (и это случилось у славян свыше тысячи лет назад), название буквой палочки было перенесено на знаки письменности — буквы. Любопытно, что с буквом связано название книги на немецком языке: **дас бух**, от древнего **буох** — письмо, грамота, и оно, в свою очередь, от **боко** — бук. Русское слово **бухгалтер** — книгодержатель — заимствовано из немецкого. Каждый бухгалтер знает, что такое **гроссбух** — большая книга, главная книга бухгалтерского учета.

Еще одно интересное слово **акация** — тоже заимствовано из немецкого, куда пришло из латинского. Латинский же получил его из греческого: **акания** — безвредная, не приносящая зла, не злая. Греческое а означало отрицание, а прилагательное **какос** — плохой, злой, вредный. В древности акация считалась символом невинности и душевной чистоты. В русских именах встречается и такое: **Акакий**, что значит безвредный, безобидный. (Видно, не зря великий Гоголь дал это имя Акакию Акакиевичу Башмачкину, бедному забитому чиновнику).

Ну, а Василиса Егоровна в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина так говорила о Ма-

ше: «Какое у нее приданое? Частый гребень, да веник, да **алтын** денег». По дореволюционному счету **алтын** — три копейки. Иногда и теперь старые люди называют монету в 15 копеек **пятиалтынным**. Слово **алтын** происходит от татарского **алтын**, что значит золотой. (Первоначально алтыном называли золотую монету, делившуюся на шесть «денег», затем так стали называть медную трехкопеечную монету). **Алтын** родственен слову **Алтай**: Алтайские горы в переводе — золотые горы. Действительно, золото находят там и сегодня.

**Алмаз**. Тоже заимствовано из татарского языка, но в него слово пришло из греческого, в котором **адамас** значит неодолимый: в самом деле, в природе нет вещества тверже алмаза.

Раз уже мы завели речь о золоте и алмазах, то заодно проследим историю слов: **солидный**, **солдат** и **сольдо** (мелкая итальянская монета). Вы спросите: а какое отношение они имеют к драгоценностям? Начнем с итальянской медной монеты. Когда-то **сольдо** (идущее от латинского **солидус** — прочный, твердый) обозначало **золотую** монету (как наш алтын), затем ценность ее все более снижалась, пока, наконец, не дошла до уровня мелкой разменной монеты. В сред-

ние века **сольдо** еще было популярной золотой монетой, которой получали жалованье войска феодалов. Воин, получивший его, назывался **сольдато**, откуда пошло современное **солдат**. Опять любопытно, не правда ли?

Зато на следующую букву — **б** — русских слов так много, что я не знаю, на каком из них остановиться. Вот для примера **бабочка**. Оно явно походит на **бабка**, **бабушка**. У этих слов общий корень **баб-**. Люди в древности верили, что душа умершего человека будто бы переселяется в живые существа — в зверей, птиц, насекомых. Отражением этих поверий и является ласковое слово **бабочка**, первоначально — прародительница; в нем — почтение к предкам.

О словах нашего родного языка можно рассказывать бесконечно. Он складывался в течение нескольких веков, и в его кладовой — в словарном составе — есть очень много интересного и загадочного.

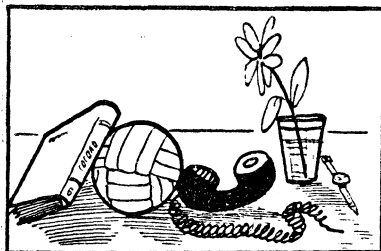
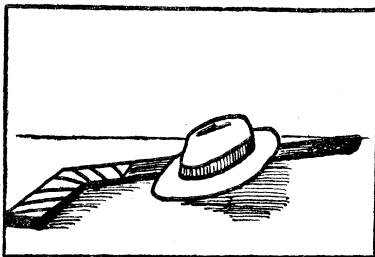
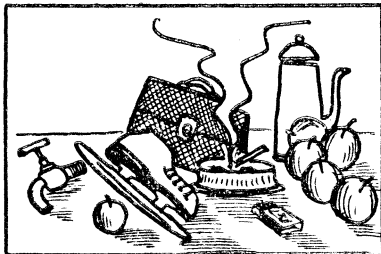
Простые и понятные слова порой имеют таинственную, неясную историю. Для того, чтобы до конца понять родной язык, надо всю жизнь изучать его, любить его и беречь. Надо смотреть, как говорится, в корни!

**В. ЖИТНИКОВ**



# Найди, узнай, подумай!

Если вы наблюдательны, то без труда назовете четыре признака, объединяющие эти натюрморты. Какие!



ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ В № 2

1. Восемь команд.
2. Судя по галстуку, первый из братьев (слева направо) изображен на пятом снимке. Третий (отличительный признак — кармашек) — на втором снимке. Четвертый — на первом (ухо). Пятый — на третьем (ладкан) и второй — на четвертом (никаких отличий).
3. Зашифровано название способа секретной переписки — «старобарская грамота», иначе — «простая литея слова».

Рисунки В. Семенова

## Советы следопыту

# НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ПТИЦАМИ

Вестниками весны называют птиц. Кто останется равнодушным к звонкой песне жаворонка, нежному говорку славки или соловьиной трели, раздающимся в притихшем ночном лесу! Как не залюбоваться стремительным полетом стрижа, ярким оперением иволги, прелестью вечерней тяги вальдшнепов.

Недаром многие любители природы, в том числе и известные натуралисты, свои первые шаги в познании природы начали с изучения пернатых. В жизни их еще много неясного, некоторые факты требуют уточнения.

Надо помнить, что образ жизни и поведение птиц даже одного вида в разных географических районах различны. Поэтому любящие наблюдения над пернатыми представляют определенный интерес, а если эти наблюдения проводятся регулярно, на протяжении ряда лет, то полученные сведения будут представлять и научную ценность.

С чего же начать изучение пернатых любителю-орнитологу? Видимо, с весеннего прилета птиц в ваши края. Для этого нужно отмечать время появления первых птиц, их массовый прилет. Обратит внимание на грачей, скворцов, жаворонков, коршунов, белых трясогузок, зябликов, гусей, журавлей, горихвосток, кукушек, ласточек, соловьев, стрижей, чечевиц.

Вскоре после прилета пернатые приступают к постройке гнезд. Это благодатное время, оно даст вам возможность собрать много сведений о размножении птиц. Наблюдения надо проводить либо у скворечников, заселенных птицами, либо у гнезд, найденных во время экскурсий в природу.

Не подходите к гнездам часто: свои наблюдения проводите из укрытия (шалашик, куст, зеленые веточки).

Постарайтесь выяснить следующее:

какой птице принадлежит гнездо; особенности расположения его; как участвуют оба родителя в постройке гнезда; установите сроки откладывания яиц и количества их; участие самки и самца в насиживании (самцы у большинства птиц окрашены ярче, чем самки); кормит ли самец самку во время насиживания; время насиживания, сроки появления птенцов; установите количество прилетов родителей с кормом для своих птенцов (за час, за день); откуда приносят родители корм птенцам; попробуйте определить, какой именно корм; сколько времени затрачивают родители на поиски корма для птенцов в различную погоду; как долго птенцы находятся в гнезде, когда происходит их вылет; все ли птенцы сразу покидают гнездо, когда, в какое время дня это происходит; где держится выводок после вылета.

Интересно установить сроки окончания весеннего пения самцов различных видов птиц, время образования осенних стай. Хорошо, если вы обратите внимание на количество птиц в такой стае, отметите, какие из них вообще не образуют стай.

Запишите сроки осеннего отлета птиц. Это значительно труднее, чем проследить за прилетом их весной. Советую отмечать всех встреченных птиц (допустим, крестиком в заранее сделанном списке). Только в этом случае можно установить безошибочно дату, когда исчезли птицы того или иного вида.

Для тех ребят, кто не часто бывает в лесу, вести наблюдения можно в городах, поселках, на их окраинах.

**Р. МАЛЫШЕВ**, зоолог

На третьей странице обложки птицы: 1 — пеночка; 2 — малый кроншнеп; 3 — вальдшнеп; 4 — горихвостка; 5 — скворец; 6 — черноголовая славка; 7 — береговая ласточка; 8 — стриж; 9 — зяблик; 10 — клест-еловик; 11 — деревенская ласточка; 12 — иволга; 13 — белая трясогузка.

*Рисунок А. Бойченко*

#### РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Технический редактор Э. Максимова Корректор В. Бурангулова

Адрес редакции: Свердловск ГСП-353, ул. Малышева 36, комн. 79 и 87. Телефон Д1-22-40.

Подписано к печати 13/II 1969 г. Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. = 2,62 бум. л. — 8,82 печ. л. Уч.-изд. л. 10,19. НС 13012. Тираж 132 000. Цена 30 коп. Заказ 743

Типография изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, проспект Ленина, 49. Обложка и вкладыш отпечатаны на Свердловской фабрике офсетной печати.

## В НОМЕРЕ:

### ПРОЗА

#### ПОПЕРЕК БРОНИ

*А. Круглов. Рассказ* 2

**ЗЕМЛЕКОП**  
*Б. Раевский* 36

**НА БАЛЧУГЕ**  
*Н. Никонов. Повесть* 41

### ПОЭТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

*Н. Мережников* 11

### О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ

**ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ БОЛЬШЕВИК**  
*В. Ераносьян* 21

**У ПОЛЮСОВ ЗЕМЛИ**  
*М. Сомов* 25

### КРАЕВЕДЕНИЕ

**БАШКИРСКАЯ РЯЗАНЬ**  
*М. Чванов* 13

**ИСТОРИЯ ОДНОГО ПЕЙЗАЖА**  
*Г. Поликарпова* 16

**ЛЕНСКИЙ ЭКВАТОР**  
*А. Тумбасов* 17

**ДВА ПИСЬМА**  
*А. Походов* 76

### СЛЕДОПЫТСКИЕ ДЕЛА

**БЕЗЫМЯННЫЙ ОБЕЛИСК**  
*П. Кочегин* 34

**РЕДКИЙ СНИМОК**  
*М. Ланской* 40

**НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ПТИЦАМИ**  
*Р. Малышев* 79

### ДОРОГАМИ ПОИСКА

**ЧЕЛОВЕК ИДЕТ ЗА ПЕСНЕЙ**  
*В. Альтов, Б. Лазарев* 12

**ПИСЬМА БОЛЬШОМУ ДРУГУ**  
*Б. Коккоулин* 32

**ОТ РАБА ДО УЧЕНОГО**  
*К. Гурвич* 70

**ЗРИ В КОРЕНЬ!**  
*В. Житников* 77

### МОЙ ДРУГ — ФАНТАСТИКА

**В НЬЮ-ДЖЕРСИ ПРИЗЕМЛИЛИСЬ  
МАРСИАНЕ...**  
*В. Иванов* 68

### ИЗ КНИГИ ПРИРОДЫ

#### ОБЛОЖКА С. КИПРИНА

На 2-ой странице обложки фото Б. Клипернищера «Башкирский танец».

63



2

1

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13



Н. ЧЕРКАСОВ (Челябинск)

ПРОСЕЛОК

15к  
30 коп

73413

**Главный редактор И. АКУЛОВ**  
**Редколлегия: В. АЛЬТОВ, А. АСС, А. БОГАЧЕВ (зам. главного редактора), М. ГРОССМАН, Ю. КУРОЧКИН, О. ЛЕОНОВА, А. МАЛАХОВ, МУСА ГАЛИ, В. НИКОНОВ, Н. НИКОНОВ, Л. РУМЯНЦЕВ, И. ТАРАБУКИН (ответственный секретарь), Ю. ХАЗАНОВИЧ, В. ШУСТОВ**